Н. Семпер-Соколова

Портреты и пейзажи

Частные воспоминания о XX веке

Н. Семпер (Соколова)

Портреты и пейзажи

Частные воспоминания о XX веке. Публикация и подготовка текста М. А. Давыдова и Е. Д. Шубиной

Н. Семпер (Соколова)

Опубликовано в журнале Дружба Народов, номер 2-3, 1997

Н. Семпер (Соколова)

Портреты и пейзажи

Частные воспоминания о XX веке

Н. Семпер (Соколова)

Портреты и пейзажи

Частные воспоминания о XX веке

«Эти записки предназначены для возможного читателя XXIII века, интересующегося нашей эпохой (если человечество будет жить и читать). Я не касаюсь мировых событий и великих людей — о них историки напишут немало. <...> Я только среднего уровня «свидетель перемен», так сказать фотограф от литературы, решивший заснять свое ближайшее окружение. <...> Мне жаль всех живших, навсегда утративших имя, бесследно утонувших в потоке истории «от Ромула до наших дней». Каждая личность — фасетка, зеркальце, отражающее действительность» — так писала в предисловии к своим обширным воспоминаниям Наталья Евгеньевна Семпер (Соколова) и была неправа только в одном — «свидетелем перемен среднего уровня» ее назвать никак нельзя.

Потомок старинных московских семей (родственники по отцу — фабриканты и меценаты братья Поляковы), дочь театрального художника Евгени Соколова и балерины Большого театра Татьяны Эверт, она и сама была личностью необыкновенно одаренной — владела многими европейскими и восточными языками, прекрасно знала философию и культуру Востока, писала стихи, рисовала. И все же самым главным ее талантом был талант любви к жизни — к путешествиям, новым знакомым, ярким краскам и тому тайному, сокровенному, что незримо руководит человеческими судьбами.

Когда читаешь воспоминания

Н. Е. Семпер, не оставляет удивительное ощущение: казалось бы, перед тобой проходит жизнь, своими основными вехами мало чем отличающаяся от жизни многих интеллигентов, родившихся в начале века, — детство с обязательной рождественской елкой, революция, трудный быт, коммуналки, новые порядки, попытка найти свою нишу среди всеобщей «коммунизации», репрессии, коснувшиеся близких, собственный арест, лагерь... — и вместе с тем это какая-то фантастическая феерия; сквозь «портреты» и «пейзажи» проступают черты романа, ибо Н. Е. обладала особенным даром — в каждом явлении жизни видеть сюжет, в каждом встретившемся человеке — абсолютную его уникальность.

Тюрьма и лагерь не только не сломили эту маленькую хрупкую женщину, но сделали ее еще более неуязвимой («Работу я люблю, а природа в лагере была замечательная. А какие разнообразные лица!»). Воспоминания Н. Е. об этом периоде составляют невольный контраст рядом с уже известными образцами женской лагерной прозы, скажем, Евгении Гинзбург и женщин ее круга. Н. Е. вышла из совсем иной среды, никакого внутреннего счета, обид и комплексов по отношению к режиму у нее не было и иллюзий тоже; но главное — идеологическое отношение к жизни вообще было ей глубоко чуждо (может быть, именно поэтому в мозаике ее «свидетельств» сцены раскулачивания или строительства канала «Волга-Москва» производят очень сильное впечатление). «Я допускаю возможность существования разумной космической силы, определяющей ритмы жизни, — писала Н. Е. — Нужна была кардинальная перемена, и она явилась в форме ареста». Жажда «кардинальной перемены» была связана и со многими сложными обстоятельствами личной жизни: смерть отца, проблемы профессионального характера и —

главное — зашедшие в тупик многолетние близкие отношения с писателем Сигизмундом Кржижановским, человеком, который по эмоциональному складу был полной противоположностью Н. Е., но покорил ее оригинальностью своей личности, блистательным интеллектом и... хрупкостью и незащищенностью своего существования.

Он умер в 1950 году, оставив после себя слова: «С сегодняшним днем не в ладах, но меня любит вечность». Наталью Евгеньевну посадили в 1949-м,

и она прожила потом еще очень долгую жизнь. После освобождения из лагеря зарабатывала на жизнь уроками иностранных языков, рефератами дл ИНИОН АН, графическими

работами. Близкий друг мемуаристки Елена Дислер вспоминает, что

Н. Е. «всегда предпочитала материальные трудности — «хомуту», и поэтому

нигде не служила», а вообще считала,

что «прожила жизнь счастливого человека, полную в молодости интересных встреч, катастроф, обретений, потерь... прожила так, как хотелось, несмотря на материальные и житейские препятствия».

«Неуязвимый эльф» — так называла она себя и вслед за ней ее друзья.

Автограф воспоминаний Н. Е. Семпер (Соколовой) хранится в Рукописном отделе Литературного музея. Мы публикуем лишь отдельные главы. Благодарим сотрудников музея,

которых связывали с Н. Е. долгие дружеские отношения, за содействие в публикации.

Театр с большой буквы

(Воспоминания о Е. Г. Соколове, 1880-1949)(Воспоминания о Е. Г. Соколове, 1880-1949)

— Что ты любишь больше всего на свете?

— Театр с большой буквы.

— Что это, Шиллер, Шекспир?

— Нет. Это серьезное отношение к делу: автор, композитор, художник, режиссер, актеры, электрики, рабочие сцены — все должны делать всё добросовестно, будь то трагедия Шекспира или оперетка «Певец из месткома». Театр — искусство, в искусстве нет места халтуре.

Отец работал крепко, грамотно, хорошо, всецело отдаваясь любимому делу; он был декоратором по призванию, оформлял трагедии и комедии, оперы и оперетты — всего до трехсот постановок за пятьдесят лет. Сперва изучал эпоху и пьесу, потом делал точные живописные эскизы или макеты, в мастерской писал декорации сам, размашисто и увлеченно, с одним или двумя малярами при горшках с красками. Он мог пропадать в театре с утра до ночи и с ночи до утра, потому что был силен, выносли в и все давалось ему легко. Он ни разу в жизни не подвел премьеру, чувство долга перед театром преодолевало все препятствия; однажды по каким-то техническим причинам занавес-задник третьего акта не был готов к началу спектакля. Пока шел первый и второй акт, отец дописал поле и небо, сырой пейзаж подвесили в антракте; клеевая краска, подсыхая, начала сильно высветляться, и на глазах у зрителей погода разгулялась, на голубом небе растаяли серые облака. Публика была поражена непонятным «трюком», но это был не трюк, а риск. Всякое бывало — и накладки, и неудачи, но по вине художника спектакль никогда не отменялся. Эффектные, яркие декорации зрители часто встречали аплодисментами при открытии занавеса, отца вызывали на премьерах на сцену.

Евгений Соколов — так он всегда подписывался и представлялся (ему не нравилось отчество) — родился в Москве в ночь с 21 на 22 апреля 1880 года в семье служащего Гаврилы Викторовича Соколова, родом из мелкопоместных дворян Новгородской губернии. Его мать, Ольга Федоровна Симбирская, встала из-за преферанса в 12 часов ночи, почувствовав, что пора, ушла в спальню; вызвали повивальную бабку, и вскоре легко родился мальчик. Произошло это в маленькой квартирке у Каммер-Коллежского вала, где тогда ютились деревянные домишки Тверской заставы и текла меж огородов речка Синичка. Рядом возвышался недавно построенный Александровский вокзал, и там же начиналась 2-я Брестская улица. На ней стоял трехэтажный кирпичный дом и амбары купцов Поляковых. Сестра матери отца, Евдокия Федоровна Симбирская, была замужем за Василием Александровичем Поляковым, одним из братьев — основателей большой Знаменской мануфактуры. Г. В. Соколов умер очень рано, мать скоро вышла замуж, и маленького Женю взяли к себе дядя и тетка; он воспитывался вместе с двоюродным братом Сашей.

Отец вырос в богатой гостеприимной семье, на лоне природы. В. А. Поляков увлекался сельским хозяйством, купил на свой пай запущенное имение Малахово в Тульской губернии и привел его в образцовый порядок. Он занимался полеводством и садоводством, поставлял овощи и первосортные семена в Москву (кстати, никто теперь не помнит, что он первый вывел черноплодную рябину). За столом у Поляковых почти всегда — двадцать человек родственников и гостей; всего — полная чаша; для мальчишек — изобилие и раздолье: овощи, фрукты, ягоды, варенье, мясо и молосина — сколько угодно; игры и гуляние летом и зимой, свобода; но В. А. был строг, за крайние шалости порол обоих собственноручно. Саша любил читать, Женя дружил с деревенскими ребятами, увлекал их своими затеями: сами построили остров на пруду, насыпали землю, посадили дерн и цветы. Полжизни провел отец в Малахове, и даже я побывала там ребенком в 1916 году, — помню лошадей, коляску, много взрослых и веселый смех.

Поляковы рано заметили, что Женя любит рисовать, умеет мастерить. Сашу отдали в гимназию, его — в техническое Комиссаровское училище, где рисование и черчение хорошо преподавал немец Гуго Маккер. Там отец научился многое делать своими руками, но инженером стать не захотел, решил быть настоящим художником; дяде и тетке пришлось уступить. Поляковы имели текстильные фабрики в разных местах; директор одной из них, Александр Александрович, либерал и меценат, создал «на Баньках»1 и в Опалихе народную библиотеку, а с открытием рабочего театра началась творческая деятельность Евгения Соколова. Восемнадцатилетний юноша задумал и написал декорации для первого спектакля «Каширская старина», а также эскизы костюмов, сам изготовил бутафорию. Играли родственники и друзья. Сохранилась фотография занавеса с датой «1898» — подтверждение его стажа.

В трех верстах от слияния Банек, в селе Губаслове, старшие братья Поляковы купили большой помещичий дом с флигелями, где постоянно у них гостили люди, любившие искусство. Оживленное, щедрое на

выдумки общество возглавлял младший брат, Сергей Александрович Поляков, издатель художественных журналов «Весы» и «Скорпион», блестяще образованный человек, друг московских символистов, переводчик Кнута Гамсуна и других скандинавских писателей 900-х годов. В этой обстановке рос отец как художник.

Он был душой еще одного замечательного художественного кружка: в 1886 году образовались «Шмаровинские среды»2. Владимир Егорович Шмаровин, управляющий делами в конторе Поляковых, собирал картины и старинную русскую утварь — ковши, ларцы, чашки, стопки, ложки… и собирал он в своем милом домике с мезонином на Молчановке3, около Собачьей площадки, интересных людей — художников, писателей, поэтов, артистов и любителей искусства — раз в неделю до ста человек. Евгений Соколов бывал там почти каждый день как самый близкий друг дома и близкий родственник. Жена В. Е. Шмаровина, Аграфена Александровна, была сестрой братьев Поляковых, странной пожилой женщиной, содержавшей двадцать восемь кошек, живущих и приходящих; их стойкий запах пропитал весь дом. Дочь Раечка, моя крестная, была тоже не без странностей — крайне застенчивая старая девушка маленького роста с прекрасными сине-серыми глазами, чернобровая и седая. Она хорошо играла на арфе, но так робела при чужих, что путала струны; она редко присутствовала на «средах», но близкие друзья часто поднимались к ней по крутой внутренней лесенке в мезонин, где она жила вместе с «нянечкой» и своей молочной сестрой «мисс Малиной» (Машей). За восемьдесят лет Раечка даже на Арбат выходила всего несколько раз.

Художники — члены «Среды» приходили к Шмаровину часов в 7 вечера, садились за длинный стол в большой зале, сплошь увешанной картинами. Для них было приготовлено все — бристоль, бумага, кисти, краски и т. д. Рисовали кто что хотел — акварели, графику, виньетки, карикатуры, а с 1892 года — обязательно Протокол «Среды», большой лист картона или бристоля, на нем в середине текст, по полям всякие рисунки. Общий стиль был принят народный, древнерусский (он был тогда в моде) и очень забавный: адреса, меню, речи и тосты обыгрывались в шутливом тоне; у «Среды» был свой устав и гимн «Недурно пущено». К 10 часам подходили гости; инструменты убирались со стола, произведения выставлялись напоказ, устраивалась лотере и распродажа. Практично были налажены денежные дела «Среды». Художники платили членские взносы; Шмаровин продавал их работы гостям и художественным магазинам, на эти средства организовывалась следующая «Среда». Каждый член мог привести или пригласить трех гостей. В полночь на том же столе был накрыт обильный ужин с обильной выпивкой. Владимир Егорович восседал рядом с бочкой пива, Евгений Соколов разливал его по антикварным кубкам1. В торжественных случаях пили из «ритуального» кубка Большого орла. Говорили об искусстве. Читали стихи. Пели. Острили. Веселились и танцевали до утра. Пьяных относили в «мертвецкую», где они отсыпались на широких диванах. Два-три раза в год устраивались балы и вечера с такими затеями, как, например, «обжорная среда» — конкурс самодельных блюд. Художник Синцов принес разрезанное пополам крутое яйцо размером 60×40 см и получил первый приз (он

сделал его из ста куриных яиц, сварив желтки внутри белков в бычьих пузырях на нитке). В другой раз Евгений Соколов превратил зал и гостиные в подводное царство; дамы были в костюмах русалок — разумеется, не в *бикини* — в те приличные времена это было бы very shocking. Или под Новый год поехали на розвальнях ряженые в валенках и тулупах поздравлять знакомых миллионеров. Плясали у них под дудку и балалайку, а вернувшись на Собачью площадку, — вальс и танго во фраках. Компания молодых художников, присутствие маститых, встречи с цветом московской литературы «серебряного века» принесли отцу великую культурную пользу. Растворяясь в среде «Среды», он все силы вкладывал в ее оформление, в это беззаботное, горящее творчеством и весельем общество. «Среда» просуществовала до 1918 года; после революции было, во-первых, опасно собираться; во-вторых, не было денег; в-третьих, состарился Шмаровин, переехавший из конфискованного особняка в квартиру пианистки Лентовской. Он умер в 1924 году.

Поляковы продолжали делать доброе дело: в 1903 году отправили Евгения в Мюнхен, так как его способности требовали настоящей школы. Три года он усиленно занимался живописью в академии Франца Штукка, известного художника-неоклассика с оттенком тяжеловесного немецкого символизма.

А сам Мюнхен... как его не любить? Пинакотека — старые мастера и современные художники: Бёклин, Клингер, Штукк, Либерман, жуткий Ян Кубин... Скульптура — по-новому эстетизированная античность, мраморные надгробия совсем без жеманства XVIII века... Торвальдсен... Прекрасно изданные книги и альбомы по искусству (отец привез целую библиотеку). И за всем этим — вольная жизнь, свой чердак, своя русская компания, художники Иван Милютин, Волков, Лисев, Соловьев; будущие инженеры Пфляумер-«мельник» и Дидрихс-«химик»; легкий роман с художницей Кэтти Затлер; и пиво, пиво, пиво — состязались, кто больше выпьет, хоть ведро. Пенится мюнхенское пиво, сидят на треногих стульях немецкие папы и мамы, дают детям слизывать пену с толстых фаянсовых кружек. Вот идет мимо пивной баварский король Люитпольд; встречая знакомых, снимает шляпу, друзьям протягивает руку. По ночам гуляют и поют студенты, безмятежно светит луна...

В 1906 году, когда Штукк благословил его рисовать все, отец вернулся в Москву пополневшим от пива и от приятной жизни.

Через год он женился на своей двоюродной сестре Тане, второй солистке балета Большого театра; ее мать, Людмила Викторовна Соколова — сестра его отца; ее отец — Александр Ермолаевич Эверт (брат командующего фронтом в 1915 году). Такой брак не разрешала церковь. Архиерей отказал Тане: «Поищите себе другого жениха». Она страшно обиделась и, не поцеловав ему руки, сердито ушла. Евгений Соколов в это время отделывал господский дом в Дубровицах, к свадьбе молодого барина. Увидев, что художник приуныл, тот спросил его, в чем дело, и отец поделился горем. «Пустяки. Устроим здесь. Дайте нашему попу сотню, он и с родной сестрой обвенчает». Сказано — сделано. 11 октябр 1907 года состоялась выездная свадьба в

уникальной коронованной церкви над слиянием Пахры и Десны. Был ясный осенний день; жених, невеста, четыре шафера, друзья и подруги поехали в поезде до Подольска, оттуда в колясках до церкви. Благополучно поменялись кольцами (одно из них, мамино, с именем отца и датой, я ношу до сих пор).

Они знали друг друга с детства, а в любви объяснились в Малахове очень романтично: Евгений, Татьяна — ему 19, ей 16; оба красивы и принадлежат к миру искусства; летний вечер, липова аллея, первый невинный поцелуй. Их выследили и разлучили, его отправили на выставку в Париж, она вернулась в Московское театральное училище, в 8-й класс. Роман, однако, не прекратился и закончился через восемь лет незаконно-законным браком.

Татьяна была миниатюрной, изящной девушкой с решительным характером. Стосковавшись по Евгению, она поехала вдвоем с подругой Надей за границу. Как это было просто в 1903 году! Наметила по карте маршрут, купила в туристском агентстве, вероятно, Кука, круговой билет на три месяца за 300 рублей1, послала дворника в «участок» обменять паспорт — через час укладывай чемодан, нанимай извозчика — и на вокзал! Первым делом в Берлин и, конечно, в Мюнхен… Три дня провели подруги среди художников, он и она повидались. Потом в Париж — приютились в мансарде на студенческой уличке в Латинском квартале; осмотрели Лувр и все прочее. Потом дальше, в Швейцарию. Там они присоединились к группе русской молодежи и прошли 90 километров пешком в высоких башмаках, в длинных юбках и громадных шляпах (по-моему, это ужасно: мне бы это отравило все путешествие). В Москве бабушке пришлось заплатить извозчику 20 копеек, так как у мамы не осталось ни гроша, но восторгов хватило на несколько лет: только и было разговоров, что о Lago di Como, да Lago Maggiore, да Isola Bella… ее долго дразнили этими *лягами*.

По возвращении из Мюнхена Евгений Соколов начал уверенно работать. В Москве на Новослободской улице существовал дешевый театр «Народный дом», где ставились классические оперы для просвещения масс. Там он начал с «Кармен» и писал декорации для других спектаклей. Понемногу он стал известен в театральных кругах и около них. В Большом зале Консерватории писал всем теперь знакомые овальные портреты композиторов; делал иллюстрации для сатирических журналов «Будильник» и «Волынка», их издавал Д. С. Моор; рисовал подборки открыток на темы народных песенок и русских пословиц; юбилейные адреса, виньетки, этикетки и прочее. Он продолжал участвовать в затеях «на Баньках» и в «Средах»; в Малахове занимался скульптурой: копал и мял глину, создал ряд статуэток, сосудов и комплект изразцов, сам сделал печь для обжига; часть изделий раздарил друзьям, часть оставил себе. После свадьбы родители сняли квартиру в Спиридоновском переулке возле Патриарших прудов, купили кое-какую мебель, им подарили столовое серебро и сервиз. Стены украсили этюды и эскизы отца. С ними всегда жила бабушка Мила, она служила заведующей в Доме трудолюбия филантропки Горбовой и переписчицей у писателя П. Боборыкина, а дома занималась хозяйством. У них была кухарка Акулина, дочь

маминой кормилицы Авдотьи Васильевны Чудаковой из деревни Матушкино в Крюкове.

В 1910 году муж с женой опять поехали за границу. На этот раз маршрут был такой: Варшава, Прага, Вена, Будапешт; через Триест и Фиуме (красивый перевал) в Венецию; побывали в Милане, Флоренции и Риме; прожили неделю на острове Капри — там, как полагалось, посетили Максима Горького и были в гостях у художницы Сведомской на вилле «Таормина», чтобы передать ей посылку от родных — четыре фунта гречневой крупы. Вилла эта подобна музею, наполнена бессистемно множеством ценных и редких вещей. Из Италии родители поехали через Бриндизи в Грецию — в Афины и Коринф, оттуда в Турцию — Смирну (Измир) и Константинополь (Стамбул). Да, нетрудно было в те времена художнику пополнить свое образование…

Летом 1911 года отец ставил оперу в Одессе. В августе мама срочно уехала в Москву, и 23-го в восемь утра появилась на свет я. <…>

Встреча с будущим

(Воспоминания о быте, 1918-1920)(Воспоминания о быте, 1918-1920)

Трамваи почти не ходят, фонари перебиты, во мраке улиц начинают раздевать прохожих. Маленькая мама боится поздно вечером возвращаться из Большого театра на Арбат, и вообще, работа в балете, ходить пешком два раза в день туда и обратно нельзя. Решив переехать поближе к театру, она сняла три комнаты в Кузнецком переулке у матери Е. Н. Гоголевой. Начало октября 1918 года. Темнеют дни. Я бегаю по всем комнатам и прыгаю через чемоданы, корзинки, узлы — весело! Но на лицах взрослых не видно улыбок, укладываются нехотя, бабушка Мила вздыхает. Покидаем давно обжитую пятикомнатную квартиру, милый Сивцев Вражек, здешних знакомых и весь прочный, спокойный быт. Мебель и вещи увозит громадная красна фура (жаль, забыла фамилию предпринимателя, известную всей Москве). Оторвалось и ухнуло в пропасть наше прошлое, безвозвратно, навсегда.

«Дом Сокол» стоит в выемке между Театральной конторой и фотоателье «Паола». Квартира Елены Евгеньевны Гоголевой в первом этаже, в самой глубине длинного темного входа. Все окна упираются в кирпичный брандмауэр Театральной конторы, — неба не видно. Солнце не заглядывает сюда. Сумрачные комнаты, гробовая тишина. Целый день то читаю, то брожу в одиночестве, не зная, чем заняться; папа с увлечением пишет декорации у Корша, мама на репетиции в Большом, бабушка на службе. От скуки задумала выкупать чижика: вынула его из клетки, намочила и намылила перышки, облила чистой водой — а он лег на спинку, раскинул крылышки и умер. Совершила преступление, жестокое убийство, поразившее мою совесть на всю жизнь.

Заглядывая в переднюю, мельком вижу юную красавицу, настоящую принцессу, героиню воображаемых историй, возникающих в темных

углах этой неприятной квартиры. Ей только восемнадцать лет, но недавно ее приняли в Малый театр, она мечтает стать артисткой.

Развалясь на диване, болтая ногами, повторяю: «Я, я, я… почему я — именно я? Только я — я?» Это уводит куда-то вглубь. Первый проблеск самосознания. Вдруг за стеной взрывается скандал — упреки, вопли; мать кричит с надрывом: «Люся, замучила! Замучила! Уходи!» Дочь убеждает, плачет, с кем-то из них начинается истерика… Что такое? У нас ничего подобного не бывало. Стоя на диване, замирая от тревоги и запретного любопытства, я подслушиваю чужую семейную сцену. Сухопарая старая мать представляется мне злой ведьмой: за что она кричит на мою принцессу? (Никак не могла я знать тогда, что Е. Н. ждет ребенка…) После этой сцены она ушла из дома и одно время ночевала в артистической уборной Малого театра. Так мне, семилетней шалунье, нечаянно открылась одна страница ее личной жизни1.

Годовщина революции. Бабушка взяла меня с собой в Александровский сад. Оглушительный шум. Все перекрывает треск летающих над самыми крышами бипланов тех лет. Испуская синий дым, внизу трещат и пыхтят старые мотоциклы (озлобленные буржуи называли их «хамотрясами»). Бой барабанов, вой труб, гремят боевые песни — «Интернационал», «Мы кузнецы», «Смело, товарищи, в ногу» и другие, — духовые оркестры, и бесконечные колонны плохо одетых людей с красными флагами и лозунгами на шестах идут на Красную площадь. Отовсюду выкрики, возгласы «Ура!! Да здравствует! Долой!». Дома и заборы увешаны красными полотнищами, гротескными плакатами и портретами лысого человека с усами и бородкой. В воздухе реют листовки; все — стихийно, непосредственно, искренне, горячо. А что это значит? Бабушка не отвечает на мои вопросы, отмахивается, говорит:

— Видишь, народ веселится.

— А почему-у?

— Настала новая жизнь.

— А для чего-о?

— Отвяжись. Вырастешь — узнаешь. Пойдем домой.

Топят все меньше, в дома проникает сырость. На лестницах воняет — гадят где попало коты, собаки, люди. Закрыты и заколочены парадные двери, граждане пробираются домой через черный ход, там, где он есть. Изо дня в день на столе водянистый суп, на второе — макароны, картошка или каша без масла. Америка пожалела нас, отправила в Страну Советов посылки АРА1 с питательными и вкусными продуктами. Мама получила в Большом театре полпуда белой муки, яичный порошок, какао и еще что-то. Ее знакомый, Гвидо Габриэлевич Бартель, инициатор проекта и активный строитель первого крематория в Москве, достал где-то сахар и грецкие орехи, бабушка испекла 12 маленьких пирожных — разделили пополам; из шести наших — папе,

маме, бабушке по одному, мне — три в рассрочку. Бартель приехал не сразу, и мама вызвала его по телефону, боясь, что мы не выдержим и съедим его долю пищи богов…

Наступил декабрь, и топить вообще перестали. В комнатах началась ледниковая эпоха. Мы заперли их и переселились в кухню. Грязный, щербатый пол; громоздкая плита под закопченным колпаком кишит рыжими тараканами; окно прямо в стену — днем и ночью одинаковая тьма. Отец спит, настелив доски и матрац, на сломанной ванне, почему-то стоящей здесь; мама спит на солдатской койке из ружейных стволов и брезента; бабушка втащила свою железную кровать с периной и ватным одеялом; я сплю вместе с ней. Пилим дрова на двух стульях, топим плиту — то жарко, то холодно, но всегда душно. Меня тошнит от вида и запаха тараканов, капусты, помоев и дыма; водопровод и канализация испорчены, раковина засорена, рычит, булькает, изрыгает на пол вонючую мерзость. Таскаем воду со двора, моемся по очереди, стоя в корыте возле топки. Одеты все безобразно — в вязаные кофты, фуфайки, валенки с заплатками на пятках. Отец спасается от быта на работе у Корша, мама — в Большом, бабушка ушла со службы и терпит, — у нее кроткий, молчаливый характер. Я тоже терплю, но внутренне все внешнее начисто отвергаю, живу в мире своих фантазий. Никогда не было мне так плохо, как в этой отвратительной кухне.

24 декабря по старому стилю (6 января 1919 года) отец принес елку, хотели как-то отметить по традиции Рождество, но не тут-то было! 25-го пришел управдом и заявил, что «Сокол» передан одному учреждению, всех жильцов выселяют в 24 часа… Пораженные, мы сперва растерялись, потом смутно обрадовались, что не застрянем в этой черной дыре. Но куда же деваться *сейчас*? В Москве тогда пустовало много брошенных комнат, но так просто занять их было нельзя, большевики уже конфисковали всю городскую жилплощадь. Вечером папа рассказал у Корша о том, что потерял крышу над головой, и ему повезло: театральный доктор А. Ф. Малинин предложил две комнаты в своей квартире на Воротниковском, 10: ему грозило уплотнение. На этот раз мы укладывались с улыбками. Переезда я не видела, так как мен отправили к знакомым на Большую Дмитровку в семью профессора Лапирова-Скобло, где я провела три дня в роскоши и тепле, играя с его маленькой дочкой Эстер2.

Дом и двор

(Воспоминания об отрочестве, 1919-1926)(Воспоминания об отрочестве, 1919-1926)

По чистой белизне, сквозь сетку тихо падающего снега привела меня бабушка на новое место — в миловидный особняк с мезонином, стоящий в глубине двора. Вход сбоку, небольшая дверь. Всего 12 ступенек — и вот мы в обширной квадратной зале. Ах, как светло! Пять цельных окон без переплетов в рамах, за ними зимняя сказка, окружевленный инеем и хлопьями сад. Ах, как тепло! Дрова горят в печке с белыми изразцами. Радостно встречают папа и мама. Все наши

вещи уже здесь, пока свалены на полу. Глазам не верится — рай! Белый сон. Все впереди. Тут мы прожили тридцать лет.

Но и тут сперва жилось нелегко. Быт исказил уют. В этой прекрасной комнате, бывшей зале (тогда femininum), стоит на кирпичах четвероногая печка, похожая на зверя, от нее тянутся в окно, в дыру, обложенную асбестом, длинные трубы; из их сочленений капает в подвешенные консервные банки вязкая черная жижа. Сырые чурки дымят в железной печурке, и готовить как будто нечего. По утрам выходит из подвала дочь дворника Наташка с лотком на руках, разносит по квартирам так называемый хлеб — кусочки из мякины, слепленные мучнистым веществом цвета бетона, в них воткнуты спички с записками, кому сколько: паек пол- или четверть фунта на рыло. Один кусок спрятали на память. С таким «хлебом» пьем поддельный чай с сахарином. К обеду пшенная или чечевичная похлебка, не стоящая первородства, на второе — сладковатая мороженая картошка на горьком льняном масле. На ужин суха вобла, опять картошка или кашица из черной муки, опять чай с сахарином или без. Один раз выдали по детской карточке двадцать яиц — пятнадцать из них, выстрелив, полетели за борт, остальные противно пахнут, но мама пичкает мен ими, а я потихоньку выплевываю под стол (с тех пор терпеть не могу омлет).

В другой раз мама купила на рынке освежеванного зайца, весело принялись готовить обед, но, когда сильно запахло псиной, папа велел отправить за борт и это желанное мясо. Из всех советских голодовок, говоря лишь о Москве, пожалуй, эта первая, при военном коммунизме, была хуже всех.

В самом конце 1922 года, опять на Рождество, опять напасть: явился невзрачный малорослый красноармеец в кубанке и потрепанной шинели, предъявил ордер на вторую комнату. Две комнаты на четверых — много (уже ввели какую-то жилнорму). Мама бросилась в неравную борьбу, как разъяренный воробей, — обратилась к Малиновской, директору Большого театра, добралась даже до Енукидзе, принявшего ее очень любезно; папа ходил к Луначарскому, достал у Корша справку, что имеет право на мастерскую, на дополнительную площадь, — ничего не помогло: Денис Мартьяныч Трубенев, рядовой, чекист, красный профессор, действовал с другого конца. В разгаре борьбы наши комнаты были опечатаны, родители ночевали у знакомых, я три дня пробыла у соседки Альмы Федоровны.

Большую комнату мы отстояли и втиснули в нее все: рояль, буфет, обеденный стол, письменный стол отца, гардероб, диван, две кровати, два столика, мольберт, два кресла, шесть стульев и мою парту. Отец, привыкший ставить декорации на любой сцене, сумел все это разместить так, что можно было перемещаться, ничего не сокрушив. Он заделал дверь в ту комнату фанерой и заклеил обоями, ее будто не бывало. Трубенев немедленно вселился с женой и детьми, прихватив заодно еще две комнаты в той же квартире. Его баба, столкнувшись с мамой на лестнице, обругала ее буржуйкой, дурой, хабалкой; онемев, мама хотела подать в суд, но умные головы ее отговорили.

Описание топографии и демографии обыкновенного московского двора может показаться несущественным и лишним, однако в нем, как в капле, отражается всеобщая ломка старых связей и привычек в начале «новой эры». Историки не станут тратить время на изучение пустяков, а в беллетристике все может быть либо размазано, либо слишком заострено. Продолжаю снимать документальный фильм — здесь все с натуры, как было, как стало потом, всякая мелочь может пригодиться. Научно назовем эту тему «Прогрессирующей деградацией», а попроще — распадом русского быта. Перенесемся в 1922 год.

Владения дома 10 отделяют от Воротниковского переулка литая узорная решетка и такие же ворота с завитками и калиткой, обычно открытой днем. Справа от входа шесть лип и палисадник под окнами первого особняка. Средняя полоса двора покрыта асфальтом. Слева узкий сад за легкой железной сеткой, в нем вдоль забора, отделяющего двор от соседнего дома No 8, ряд старых ясеней и ряд кустов барбариса (на них тогда еще вызревали кисленькие красные ягодки); сбоку два молодых топол и маленький вяз; под окнами второго («нашего») особняка — сочная, роскошная сирень: когда она цветет, дворник Алексей спит под ней, дабы чужие не обломали. Справа от асфальта булыжник с травкой и двухэтажное кирпичное здание — чуланы для дров, которые потом переделали под жилье.

В глубине двор замыкает «большой дом», всего четырехэтажный, но внушительный, серый, новый, с длинными окнами. В нем восемь квартир со всеми удобствами (лифта нет). За годы мировой и гражданской войны, эмиграции, эпидемии и разрухи он опустел, из прежних жильцов в нем остались только три важные барыни в кв. 8 — сестры Воронцовы-Вельяминовы, сохранившие часть былого высокомерия, да в кв. 12 — Екатерина Христиановна Фрейман с матерью, богатая семья бывшего владельца известной аптеки на углу Пименовского переулка и Тверской. Остальные квартиры заселили приезжие: Каган (No 7), Фельдман и Дембург (No 9), Шмелькины (No 10), Зискинды (No 11) и Аскенази (No 13). В последней кв. No 14 жили украинцы — семья Ковзан и охотник Штефко с дочерью Маргушей и мощным пойнтером по имени Бом. По вечерам на дворе звучал зычный голос его хозяина: «Бом, домой!»

Мы, дети, знали всех жильцов в лицо и по именам, знали их собак и кошек. И жильцы были знакомы друг с другом, приветливо здоровались на дворе, давали деньги взаймы, доставали продукты; женщины стирали вместе подле крана, сливали воду в люк и оставляли белье на веревках без присмотра. Нравы были гораздо мягче, люди общительнее и проще, отчуждение еще не вкралось в московский быт. Весь день раздаются на дворе живые голоса — заходят разносчики, ремесленники, татары и кричат: «Свежая рыба-рыба-а-а! Чинить-паять! Точить ножи-ножницы! Вставлять стекла! Старье берем!» Надо всем по праздникам разливается благовест; кто-то разучивает гаммы, у кого-то распевает канарейка, звонко шлепает мячик — один, другой, третий.

В подвале первого особняка живет беднота — восемнадцать человек в одной темной комнате (несколько семей и одиночек). Пол холодный.

Стены мокрые. Потолок низкий. Под ним, ниже уровн земли, окошко. Три голых стола, расшатанные табуретки, кровати с тряпьем. Гудят примуса. Воздух спертый, мутный от курева. Пахнет щами, жареным луком и водкой. Кто эти люди? Я еще мала, не интересуюсь, забегаю на минуту за сверстниками в этот неприятно-чужой мир, зову их на двор. Восьмилетний Христофорка воображает себ автомобилем, целый день носится, сильно хромая, с колесом и кричит: «Ы-а, ы-а…» Варька, дочь прачки, не умеет читать в девять лет, прячется по углам и молчит. А вот Жоржик Бежанов — мастер на все руки. Худой, некрасивый, он в одиннадцать лет знает себе цену и цену своему труду: замечательно точно делает модели грузовиков и легковых машин, продает их детям всего переулка. Кроме того, он антрепренер и режиссер: развлекает нас на лестнице особняка — ставит на окно самодельный макет, в нем реквизит и фигурки актеров; садитс рядом и читает пьесу, передвигая персонажей. Мы толпимся на ступеньках, сидим верхом на перилах, смотрим. Билетик стоил до 1923 года 500 рублей, после — 5 копеек. Так Жоржик начал пробиваться из подвала в жизнь, стал настоящим мастером, потом хорошим инженером.

В первом особняке на первом этаже в квартире первой жил известный художник-пейзажист, академик Витольд Каэтанович Бялыницкий-Бируля. Уже немолодой, но крепкий блондин с голубыми глазами. Он любил носить кожаную куртку, тирольскую шляпу и охотничьи сапоги или, в парадном случае, мягкий светло-коричневый костюм. Бируля считался белорусом, но в нем, кажется, текла и польская кровь. До революции дом 10 принадлежал его первой жене, купчихе Сувировой, котора была старше его лет на 12-15. Я видела раз на дворе эту темную, сухую старуху, похожую на ведьму; говорили, что она не совсем в своем уме. В ожидании ухода «проклятых большевиков» она закопала в палисаднике свое столовое серебро, но, не дождавшись, умерла в 1921 году. Серебро нашли рабочие, менявшие трубы, через полвека: прочитав заметку в «Известиях», я написала туда об этом, так как никто не мог догадаться о происхождении клада.

Бируля занимал всю квартиру с дочерью Любой, но скоро к ним вселили семью служащих Головиных (Борька Головин и Володька Шелякин с третьего этажа были самыми отчаянными мальчишками во дворе). Страшась дальнейшего уплотнения, В. К. сам уступил одну комнату Марии Петровне Музиль, из рода актеров Малого театра. Она была учительницей и занималась одно время в Кремле с детьми Сталина. Он еще не был тогда всесильным диктатором, но уже производил подавляющее впечатление. Мария Петровна рассказывала нам: «Его жена обаятельна, дети хорошие, но когда он входит в класс и стоит у двери, устремив на меня свой тяжелый пронизывающий взгляд, я теряю самообладание, путаюсь». Из-за этого она отказалась от выгодного места.

Витольд Каэтанович был страстным охотником и рассказчиком в тургеневском стиле. Члены партии и правительства приезжали к нему на охоту в имение «Чайка» на озере Удомля в Тверской губернии, оставленное ему как личная собственность. Его вторая жена Нина Александровна — воспитанная, ласковая молодая дама — понравилась

всем обитателям двора; у нее была высокая прямая фигура и кроткие серые глаза навыкате с каким-то овечьим выражением. В. К. ее обожал и был одно время счастлив; его картины имели успех на выставках, их покупала Третьяковка, приобретали власть имущие любители лирического пейзажа. Названия их все уменьшительные, колорит самый нежный: «Весенняя травка», «Серенький денек», «Снежок пошел», «Облачная ночка» и т. п. Писал он их без устали, ездил на Север, особенно любил Кандалакшу. Хотя высокие покровители не принуждали художника писать высоковольтные линии и ударников на производстве, хот он был очень осторожен и до слащавости любезен со всеми, в кругу близких людей он тоже вздыхал и жаловался на тяжесть идеологического ярма.

Общительный и практичный, Бируля во внешнем мире всегда процветал, но в личной жизни ему не везло. Через несколько лет Нина Александровна трогательно скончалась от чахотки, как романтичная героиня XIX века... Я навестила ее за два дня до того: бледно-прозрачное, как лунный камень, лицо и слабые руки на складках чистого белья; странно сверкающие глаза и грустная улыбка. В приоткрытую форточку сочится сладкий весенний ветерок, в комнате удивительно свежий воздух. Окровавленные клочки в тазике на полу. Белые нарциссы на столе — цветы запоздалые...

Безгранично самоуверенная, непросвещенная, никому и ничему не сочувствующая сила заладила все переделать по-своему, не думая о том, что думают другие и что получится в результате.

В «допотопные» времена квартира No 4 в бельэтаже второго особняка была предназначена для средней дворянской семьи; как полагалось, шесть комнат: зала, столовая, кабинет, гостиная, спальня, детская; еще две комнатушки для прислуги, коридорчики и закутки; кухн была внизу, в нее вела холодная каменная лестница. Тогда квартиру эту снял у Сувировой известный в Москве гинеколог, доктор Александр Федорович Малинин, высокий бронзоволикий красавец с проседью в густых черных волосах. Молодежь увлекалась им, он читал «потрясающие» публичные лекции о браке и любви.

В 1919 году его вольготная жизнь в квартире 4 кончилась, площадь перешла в ведение домкома. Во избежание худшего пришлось отдать две комнаты нам, затем в квартире появились чужие люди: Валентина Аароновна Курлянд, современная деловая женщина-экономист; Радзиловские, муж и жена с ребенком, потом актер Егор Иванович Ковров с серым сеттером Ледой; две пожилые немки Альма Федоровна Юргенсон и Лина Ивановна Буш. Поскольку все принадлежали к образованному кругу, сосуществовали мирно.

В 1923 году диктатура пролетариата уже окрепла; по Москве прокатилась новая волна уплотнения — этого великого принципа справедливости, нового средства воспитания через труд и быт. В город со всех сторон ломились новые люди — потеснитесь, бывшие, дайте им место! Весь состав жильцов в квартире 4 изменился. Жена Малинина, резка и нетерпимая, уехала с младшей дочерью и сыном в Париж;

старшая дочь Татьяна, медсестра, перебралась в мезонин; А. Ф. Малинин ушел к своей любовнице и женился на ней. На их площадь вселили рабочих Зайцевых. В. А. Курлянд вышла замуж за дипломата Малика и уехала в Лондон, в ее комнате появилась хорошенькая модистка Вавочка Крылова, имевшая легкий успех среди актеров. Радзиловские и вслед за ними Ковров тоже куда-то выбыли, эту комнату присвоил Трубенев и сверх того отгородил себе половину бывшей столовой необструганным тесом. Обе немки уехали в Ригу, приехала из деревни Тоня Бородина. Наша квартира — совсем не исключение, вс Москва была взбудоражена великим переселением народов.

Половину бывшей столовой превратили в общую кухню, перетащили в нее плиту и столы с примусами. Паркет почернел от грязных подметок и жирных пятен, окна замутились от пара и чада. У новых жильцов классовая солидарность сочеталась с необъяснимой ненавистью друг к другу. Торжество коллективизма обернулось пошлыми скандалами. Избегая всего этого, мама готовила не там, а у себя в закутке на двух керосинках (печурку с трубами давно убрали). Она решила полностью от «них» отделиться. Изучив план квартиры, посоветовалась с инженером, наняла водопроводчика, он перенес гудящую рядом общую уборную на другое место и устроил нам в закутке свой санузел. Отец «отрезал» все глухой стенкой и открыл для «них» другую дверь на лестницу. Получилась отдельная квартира No 4а. Взбешенная коммуна подала на маму в суд, но на этот раз мы победили — новый план признали полезным для благоустройства.

Владимир Владимирович Третьяков (Коншин), по прозвищу «Милуша», не мог забыть, что когда-то прокутил в Испании три миллиона: каждый раз он рассказывал эту историю, когда мать Вавочки Крыловой выносила ему на общую кухню стопку водки и кусок селедки на железной вилке. Он пил и закусывал, стоя в дыму у шершавой тесовой стены, благодарил и с достоинством удалялся. Высокий, дородный, с красным лоснящимся лицом, прилично одетый в остатки прежней роскоши, он выглядел импозантно и подавлял своей барской осанкой. Еще до революции, но уже на грани разорения, он «пристал» к Художественному театру, а после нее был зачислен там актером на выходах, то есть статистом. У бывшего миллионера сохранилось много старинных вещей, которые он продавал знакомым — художникам, антикварам, актерам и режиссерам, показывая, соблазняя, упрашивая, улыбаясь: «Ты только посмотри, милуша, какая прелесть!» Отсюда пошло его прозвище. Каждый день с утра он отправлялся в обход со своими вещичками, продавал или просил под них взаймы, не отказывался от стопки и в сотый раз рассказывал историю о трех миллионах, пока не выпроваживали его за дверь. Бывало, даже не впускали, сказав через цепочку «дома нет», а он не смущался: «Ничего, милуша, еще разок зайду». Отец тоже попадался на удочку, покупал совсем ненужные вещи — негодные часы, массивную палку из черного дерева с вычурным набалдашником из слоновой кости (мама потихоньку продала ее года через два).

Милуша зато выручил меня на первом курсе: нам задали на уроке разговорного языка составить ресторанные меню — кто лучше? Я никогда еще не была в ресторане и не знала, что делать, пожаловалась папе. И тогда Милуша принес такое изысканное французское меню, привезенное им из Парижа, что я, переписав его, не понимая, из чего сделана вс эта еда, получила в классе первый приз.

Исчез он из вида во время войны. Запасы его редкостей иссякли, да никто не стал бы их теперь покупать. Ходили слухи, что он поблек, отощал и сошел на нет в каком-то трудном 194(?) году.

В большой дом приехала новая девочка Зина Каган1. Я первая позвонила в квартиру 7, вызвала ее гулять во двор. Вышла полненькая девочка в красном пальто с черными пуговками; у нее округлое розовое лицо, чуть припухшие веки, черные глаза и круто вьющиеся каштановые волосы. Негромкий, но звонкий голосок. Познакомились и сразу подружились, стали каждый день встречаться на дворе и дома. Зина была на полтора года моложе и, наверное, умнее меня, потому что мы дружили на равных, читали те же книги и учились одинаково. У нее была солидная, обеспеченная семья. Отец, Евгений (Ефим) Ипполитович Ган (Каган) — профессор государственного права, до угрюмости серьезный человек, я побаивалась его; мать, Мария Васильевна, дочь бывшего петербургского лабазника Кобозева, — педагог, директор школы, умная и оборотистая женщина с большим «гонором» и вкусом. С ними жили ее сестра Зинаида Васильевна («крестная») и двоюродная сестра Дуня, вследствие своей малограмотности обреченная на всю жизнь служить у них домработницей.

Когда расцвел нэп, родители наши спохватились и крепко запрягли нас в тяжелый воз учебы; ко мне и к Зине по очереди стали приходить (по три раза в неделю каждая) три учительницы: Екатерина Ивановна Мелешко из бывшей Ржевской гимназии — готовила в школу по всем предметам (как эсерку, ее потом арестовали); Елена Ал. Беловерхая, бывшая смольная институтка — французский язык (в 1925 году уехала в Париж); и молоденькая, аккуратная, как белая кошечка, Евгения Петровна Спельман, которую мы прозвали Фру-фру.

...Еще в 1927 году после одной вечеринки у Зины четыре подруги задержались до часа и остались ночевать. Нам постелили вповалку на ковре. Мне было тогда 15, Зине 13 с половиной, другим двум столько же: одетые в прямые короткие платья, мы выглядели детьми. Среди нас выделялась утонченная 16-летняя девушка с лицом и прической античной камеи. Ее гибкую фигуру плотно облегало черное бархатное платье, расходящееся от бедер складками до пят (еще не виданная у нас мода); на тонкой белой шее золотая цепочка с медальоном. Перед сном, стягивая с себя трикотажные майки и штаны, мы уставились на ее шелковую комбинацию, кружевной лифчик и чулки-паутинки — может быть, уже нейлон? Ничего подобного мы не имели.

Это была Марина Корвин-Круковская. Она принадлежала к знатному древнему роду, в совершенстве знала французский, мать привила ей

великосветские манеры. Однако жила она где-то в Вишняках, в деревянном домишке, каждый день шлепала по грязи на станцию, работала чертежницей в заводском КБ. Марина страдала от убожества своей жизни точно так же, как героиня рассказа Мопассана «La parure»1, но история ее потекла в другую сторону. Не знаю, где и как с ней познакомился бельгийский граф Д’Эстре. Влюбился по уши и, что самое невероятное, обвенчался с ней в посольстве (оба они католики). Он прятал ее там, пока не добился от наших блюстителей коммунистической морали разрешения увезти законную жену за границу; одно время браки с иностранцами были в Советском Союзе запрещены. Его родственники-аристократы приняли Марину радушно, она принадлежала к их вере и касте, была очень красива, хорошо воспитана и к тому же казалась им жертвой большевиков. Небывалая удача потрясла наше воображение… Года через два мать Марины, прозябавшая в Вишняках, принесла показать фотографии, присланные с Лазурного берега: еще более похорошевшая от счастья и богатства молодая графиня Д’Эстре снялась с мужем, свекровью и маленьким наследником под приморскими пальмами где-то между Ниццей и Монте-Карло. Зина глубоко вздохнула от зависти. «Брось, — сказала я, — мы рылом не вышли».

Гвидо Габриэлевич (на русский лад Гаврилович) Бартель пришел к нам в первый раз на Сивцев Вражек вместе с тетей Любой Леман в 1916 году. Он интересовался балетом, хотел познакомиться с мамой и с тех пор стал бывать у нас в гостях. Это был деловой человек средних лет, среднего роста, безупречно чисто и хорошо одетый, смолоду лысый, идеально выбритый и надушенный терпким «шипром». Он выделялся внешностью, был по-своему интересен: беломраморное впалое лицо, тонкий острый нос с горбинкой, бледные правильные губы и металлически серые глаза под чуть приподнятыми к переносице бровями, что придавало ему сходство с трагической маской, — находили, что он похож на писателя Габриэля Д’Аннунцио, особенно в профиль.

Хотя Г. Г. Бартель являлся выходцем из Австрии, по-русски говорил он без малейшего акцента, ровно и четко, потому что давно жил и работал в Москве. Он был как-то связан с архитектурой, скорее всего с коммерческой стороны. После революции был всецело поглощен строительством первого московского крематория. Ездил в командировку за границу, привез много эскизов, чертежей и технической документации. Как известный специалист в этой мрачной области, он энергично добивался в верхах своей цели, и разработанный им проект в строгом бёклиновском стиле был одобрен, принят и осуществлен. Бартель написал и опубликовал беленькую книжечку с иллюстрациями и видом входа в крематорий на обложке. Он пришел к нам, сияя, с видом победителя и, потирая руки, сказал:

— К сожалению, было бы не совсем корректно пригласить вас на торжественное открытие моего детища из-за его специфики… вот если б это был новый театр или кинозал…

— Благодарю вас, — сказала мама, — не сожалейте об этом, все мы рано или поздно приедем туда и останемся навсегда.

В 1937 году Бартель был репрессирован, выслан из Москвы и безвестно погиб где-то на русских просторах. Менее чем кого-либо, могла я представить себе его в грязной лагерной телогрейке.

Летом 1949 года я выбыла из квартиры 4а, и с тех пор ни разу не занес меня случай в те края. Только через 36 лет (12 сентября 1985 года), возвращаясь из Института им. Бурденко с похорон доктора Лидии Оскаровны Корст, нашей давнишней знакомой, идя по Садовой мимо Воротниковского переулка, я решила заглянуть на старое место.

Первый особняк, где жил Бируля, снесен до основания. На площадке марширует группа новобранцев. Сад изничтожен, решетка сломана, деревья спилены, земля голая, кустов нет. Наш особняк, 65 лет тому назад тонувший зимой в кружеве инея, весной в массе разметанных соцветий сирени, пока еще стоит, облупленный, обреченный на слом; его цельные окна были разбиты, вставлены рамы с грубыми переплетами; дверь уже заколочена. Прошлась я по лестнице большого дома, он все тот же, только на дверях у звонков много новых фамилий. Деградация завершилась, c’est fini, больше я сюда не приду.

Тоска бывает всякая: тут меня заела мерзкая, ядовитая тоска. Выйдя из переулка, я как можно скорее постаралась вернуться в свое настоящее.

«Мать и мачеха»

(Воспоминания о ВКНЯ и МИНЯ, 1928-1929)(Воспоминания о ВКНЯ и МИНЯ, 1928-1929)

1. Alma mater

В конце августа 1928 года мама отдала меня на Высшие курсы новых языков при 2-м МГУ (ВКНЯ). Хотя мне было 17 лет и я окончила школу, она без спроса подала документы и сообщила мне об этом post factum. Я не возражала, языки давались мне легко, я уже немного знала три с детства, и проблема «кем быть?» не мучила меня. Кто-то посоветовал маме именно эти курсы — только что открытый в Москве филиал новой Фонетической школы, основанной С. К. Боянусом в Ленинграде. Оттуда был приглашен весь состав преподавательниц, обученных по его методу. Фонетический метод постановки произношения совсем недавно проник в СССР и сразу вошел в моду.

1 сентября я в белой блузке, с прической Bubikopf, явилась в большую аудиторию 2-го МГУ1 на вступительную лекцию профессора Щербы. Собралось несколько сот зачисленных в этом сезоне, в подавляющем большинстве взрослых женщин — учительниц и переводчиц, желающих повысить квалификацию; много было и начинающих с азов. Лекция по теории фонетики была, вероятно, самой обыкновенной, но мне в этой приподнятой обстановке показалась верхом учености, я записала ее в

новую, блестящую черную тетрадь. После нее летела по Девичьему полю, окрыленная своим новым студенческим состоянием, предчувствуя полную новых интересов жизнь.

Мама отдала меня сразу на два отделения: еще в августе, после устной проверки и диктанта, меня приняли на третий семестр. Заниматься по вторникам, четвергам и субботам, с 10 до 11.30 английским, после перерыва — немецким до полвторого. Утренние отделения ВКНЯ помещались на четвертом этаже рабфака им. Бухарина2. Широкий коридор, по сторонам десять больших светлых комнат, в них по три ряда сдвинутых черных столов и простых стульев. Доска. Вешалка у двери (раздевалки тогда внизу не было). В тупике коридора белый бюст Бухарина на красном постаменте, направо дверь в учительскую. С нетерпением дождавшись желанного дня, я шла пешком с Тверской на Остоженку, мимо Патриарших прудов (места моего рождения), по Вспольному, Трубниковскому, Плотникову, Лёвшинскому и Еропкинскому переулкам — «путь из варяг в греки». На курсы вслед за мной поступили три подруги, Зина Ган, Наталья Лебедева, Иришка Лаврентьева, а потом еще Лена Бостанжогло. Обратно домой шли вместе, болтали чепуху, покупали с лотков ириски и карамель «Прозрачная» по две копейки за штуку, сосали всю дорогу. Ноги были неутомимые, однако в сильные морозы я ездила туда-обратно на трамвае «Б».

Я немножко опоздала на первый урок в свою группу No 7, он уже начался. На фоне черной доски перед классом стояла очень худая изящная женщина в светло-фисташковом джемпере, того же цвета длинный шарф был перекинут через шею на спину и на грудь. Темные волосы с красным отливом модно подрезаны и загнуты острыми лунками на щеки, редкая челочка на лбу. Грустные карие глаза. Все это я ухватила с первого взгляда. Форточка была открыта, с улицы доносился колокольный звон — был какой-то церковный праздник. Она вздохнула и тихо произнесла: «Oh, how very sad it is...1 Может, кто-нибудь закроет?» Я вскочила на подоконник и закрыла. Ведь мне — семнадцать, а остальным от тридцати до шестидесяти лет.

Надежда Алексеевна Живкович была дочерью петербургского сенатора сербского происхождения. Ее воспитывала английская гувернантка, обучала француженка. В четырнадцать лет она заболела костным туберкулезом колена, ее отправили в Швейцарию, где она год лежала в санатории и еще год ходила на костылях; нога не сгибалась, она осталась навсегда хромой. Это не ослабляло ее привлекательности, напротив, усиливало ее оттенком сожаления. Революци застала Надежду Алексеевну с матерью в Евпатории, где они застряли до конца гражданской войны, вернулись уже в новый Ленинград. Отец умер. От нужды спасло знание языков, а подготовка у Боянуса дала верную специальность. В 1928 году она была вместе с К. Качаловой, В. Менделеевой и другими приглашена в Москву. Жить было негде — сняла комнату в 3-м Хамовническом переулке, в коричневом деревянном домишке на пустыре, рядом с дровяным складом2. Этот жалкий домишко принадлежал некоему Де Лазари, служащему Большого театра. В то время это было жуткое окраинное захолустье на

берегу реки. Лужи, грязь, кривые заборы… зато близко от курсов. Н. Живкович испытывала здесь страшное одиночество, оттого и была так грустна.

У всех преподавательниц ВКНЯ имелись свои admirera, поклонницы в их группах. Я стала «рыцарем» N. J. (так она подписывала наши работы, и так мы ее называли). 30 сентября 1928 года (Вера, Надежда, Любовь) я купила желтую хризантему в цветочном горшке, написала по-английски четверостишие, наняла девчонку Клавку, прислугу моей подруги, и послала ее передать цветок в дом Де Лазари, а сама спряталась в дровах. Потом мы обе удрали. Через 35 лет я призналась N. J. в этой проделке — и она запоздало огорчилась: оказывается, ждала этого не от ученицы, а от настоящего поклонника, но… А я провожала «даму сердца» после занятий, когда было скользко, вела под руку, чувствуя через локоть неровность ее походки; показывала Москву: Василия Блаженного, Дом боярина и другие музеи; она сильно тосковала по Ленинграду, — я решила ее развлечь, попросила у отца контрамарки в мюзик-холл на ревю «100 минут репортера», в котором он великолепно оформил феерию в японском стиле. Всю зиму меня не покидала жалость к N. J., смешанная с платонической любовью. Весь тот сезон я провела в романтическом тумане, писала стихи под символистов и прилежно учила язык в ее группе.

Образ N. J. пленял меня всю жизнь. Я много лет писала ей письма к праздникам, она отвечала кокетливыми открытками, исписанными странным клинообразным почерком. Бывая в Ленинграде, я каждый раз являлась по традиции с тортом и цветами, но теперь за чаем мы рассуждали на равных о высоких материях, о современной литературе. Если бы не она, я не узнала бы Анри де Ренье, Жюля Ромэна, Ж. Дюамеля, Пруста… Имажинисты Т. С. Элиот и Эзра Паунд, ее кумиры, пригодились мне лет через десять в беседах с С. Д. Кржижановским. Следу своему девизу «Friends, flowers, books»1, N. J. встречалась с замечательными друзьями — в их числе была семья великого дирижера Мравинского, художник Акимов, поэтесса и переводчик «Дон Жуана» Т. Г. Гнедич и другие представители петербургской интеллигенции; в Москве она дружила с известной арфисткой К. А. Эрдели.

N. J. всегда жила на улице Каляева (б. Захарьевской), в доме 16, в одной из шестнадцати комнат сенаторской квартиры отца, превращенной в коммуналку размером с большое общежитие: парадная дверь обвешана звонками, при каждом табличка с фамилиями жильцов, численность населения дошла до шестидесяти человек; коридор шириной с улицу в старой Риге. По ее словам, N. J. во время блокады «бродила как дикая кошка с горящими глазами по темной ледяной квартире, набитой трупами, питалась ничтожной пайкой хлеба и всякой гадостью»; и без того худа как щепка, она выжила, тогда как жирные жильцы все вымерли. После войны она очень пополнела и добела поседела. Снова преподавала английский, потом вышла на пенсию, и опять — друзья… цветы… книги. Она скончалась от рака легких в октябре 1968 года.

Общее языкознание читал В. В. Виноградов, тогда еще не седовласый красавец академик, а смуглый черноволосый доцент с поразительными синими глазами, скромно опущенными долу. Все мы поджидали, когда он взмахнет темными ресницами и посмотрит на класс. Полгруппы тайно влюбилось в него, но внимательно слушали и понимали крайне трудные лекции лишь несколько человек.

Сделав курсовую работу — схему генеалогической классификации индоевропейских языков на целом листе ватмана, я должна была почему-то принести ее к нему на дом. Виноградов жил в Афанасьевском переулке близ Арбата, в первом этаже небольшого белого дома с двумя подъездами, балконами и «фонарями». Впервые вхожу в кабинет ученого. Удивляет не количество книг, не стол с рукописями, а иконы в углу, даже с лампадкой под ними, — как чудно: не у старушки какой-нибудь из «бывших», а в кабинете молодого доцента… это не укладывалось в тогдашнее студенческое сознание. Говорили потом, что именно из-за них он впал в немилость и, кажется, был сослан (этого я точно не знаю). Потом Его величество Сталин простил и даже позволил В. В. В. стать членом Академии наук СССР.

После замечательного лета, проведенного с папой и мамой на Кавказе, насыщенная южным солнцем, солью моря, силами гор, я вернулась в Москву к 1 сентября и с удовольствием приступила к занятиям на втором курсе.

Историю английской литературы читала Валентина Васильевна Ивашева — правнучка декабриста, член ВКП(б), заведующая учебной частью ВКНЯ, кандидат филологических наук. По средам я приходила первая в Левшинский переулок в Дом рабпроса2 (особняк и ныне там), ждала в саду, когда уборщица откроет дверь, и занимала свое место в первом ряду напротив лектора. Понемногу собирается наша группа, тридцать человек. Ровно в десять утра в зал решительно входит Ивашева, энергичная, деловая, всегда в строгом синем костюме, бросает на стол мягкий коричневый портфель и начинает сразу читать лекцию на хорошем английском языке, коротко и ясно. Слушая, исподволь рассматриваю ее широкое белое лицо, чуть косо поставленные глаза с холодком, резко расходящиеся тонкие брови — что-то в этом лице есть татарское; волосы темные и волнистые, на косой пробор, конечно подстрижены, как почти у всех. Во всем ее облике и манерах проглядывает врожденный аристократизм, который она старается подавить, подражает пролетариям, носит кепку…

Под влиянием Ивашевой я как следует занялась марксизмом-ленинизмом. Истмат и диамат преподавали по шаблону; подготовившись по философии под руководством Юли Вермеля3, старалась осмыслить их по существу, помимо догматов, похожих на застывшую лаву, и безапелляционного утверждения истины. Идеализируя Ивашеву как новый тип современной женщины в науке, я не знала ее как человека. Рассказывали тогда, что раньше она была близка с церковным реформатором Введенским, потом с ректором Пинкевичем, но это были слухи. На курсах у нее был свой рыцарь — долговязый студент Яшка Садогурский по прозвищу Губошлеп.

Зимой неожиданно всех удивила новость: Ивашева стала директором ВКНЯ! Ей только 25 лет — и вдруг она заменяет маститого Боянуса на этом посту… Злые языки утверждают, что она даже уволила его как преподавателя фонетики, — и правда, он перестал бывать в Москве, но, вернее всего, потому, что собирался уехать в Лондон. Никаких особенных перемен в связи с ее «воцарением» на курсах не произошло, она по-прежнему читала лекции по истории литературы и вела себя так же просто.

В марте на светлом горизонте ВКНЯ появилась первая туча: у нас отобрали две аудитории в конце коридора. В Москву прислали из Сибири партию «тысячников» — чернорабочих с кирпичных заводов и лесосплава на предмет срочного приобщения к культуре, в частности к иностранным языкам. Это были первозданные автохтоны, — третьекурсников заставили их обучать. Пришлось потесниться. Затем налетела вторая туча: отняли все помещение на Остоженке. Что поделаешь, здание принадлежит рабфаку, он исполняет свой долг перед рабочим классом. ВКНЯ временно приютили внизу на Курсовом переулке, где находилась наша канцелярия. В мае засунули английское отделение в три маленькие комнаты, которые нехотя предоставила длинная скучная фабрика на Пречистенской (Кропоткинской) набережной. За немытыми окнами блестела Москва-река, за ней зеленели сады Замоскворечья. Учебный год кончался в недоумении от притеснений, беспокоили тревожные слухи: кто-то где-то сказал, что ВКНЯ — гнездо дворянско-буржуазного охвостья… Вокруг Ивашевой плелись какие-то непонятные нам интриги, все разваливалось и катилось куда-то вниз, но я не вдумывалась в это, потому что меня захватило новое большое увлечение, наложившее колоритный отпечаток на весь мой образ жизни, определившее вектор будущих занятий.

Предмет «Разговор на литературные и философские темы» вела на английском языке оригинальная личность — Elsie Millman, первая иностранка, с которой мне довелось непосредственно поговорить наедине. Прожив по нескольку лет в Китае, Индокитае и на Малайском архипелаге, побывав даже в Центральной Африке, она решила познакомиться с нашей загадочной социалистической страной. Изучая каждую страну, Элси Миллман работала в ней кем придется: из окна гостиницы, из мимо бегущей машины, считала она, ничего не увидишь, не узнаешь о природе и людях. Писательница, журналистка, этнограф, педагог, физически здоровый человек, она имела много возможностей осуществить богатую впечатлениями жизнь.

На первом курсе мы побаивались ее серьезных вопросов, иронической критики наших глупых ошибок. Грозно стоя за учительским столиком, она вылавливала самых робких и вызывала к доске. Оценки ответов были строгие, и трусихи в классе прозвали ее «богиней Кали». Ей было лет 50-55, внешне она была похожа на американского индейца: густые брови вразлет, орлиный нос, высокие скулы, большой рот; лицо еще не утратило тропического загара; короткие черные волосы с проседью, проницательные глаза — все крупно, четко — скульптурно. Мен очень заинтересовала эта свободная, самобытная личность и все то, что она в

себе несла, — я смутно ощущала, что она соответствует моим собственным, пока не осознанным запросам.

О чем же мы беседовали на этом семинаре? О мыслях современных британских и американских авторов; о новых течениях в социологии и культурологии на Западе; об отношении восточной философии к западной и vice versa; а также и о советских проблемах. Идеологический надзор в 1929/30 учебном году еще не так свирепо контролировал на лекциях каждое слово. На втором курсе я перестала бояться отвечать Миллман, несмотря на то что один раз провалилась на зачете, ничего не выучив о ликвидации кулачества как класса (эта тема была на гребне волны, ее обсуждали на всех уроках — дело было решено, кое-где приступили к исполнению).

В тот незабываемый майский день я вышла с «фабрички» после занятий вслед за Миллман и тут же пристала к ней, готовая провожать ее хоть на край света. Было жарко, ясно, на Москве-реке, играя с Солнцем, сверкал столб ряби. Внизу у причала болтались лодки, перевозчик звал покататься — все было тогда просто, с невысокой насыпи к нему по земле сбегали тропинки. Я предложила страшной богине Кали переправиться на тот берег, зная, что там хочу показать: сама она не догадалась бы туда забраться, хотя Москву знала получше иных москвичей. Мы переплыли реку в самом широком месте против мыса кондитерской фабрики «Красный Октябрь», вдыхая легкий аромат какао и ванили. Я заплатила старому корявому лодочнику 10 копеек за двоих, и мы вылезли наверх, в еще не тронутый ломом лабиринт Спасоболвановских, Спасоналивковских переулочков (попробовала перевести необъяснимые эти названия). Только что распустились тополя, тенистые палисадники и садики напоены их свежестью, запахом весны. Безлюдные улички с домиками на пригорках изгибаются то направо, то налево, над ними свисают ветки, первая травка пролезла среди булыжников и в щели между каменными квадратами плит прошлого века — еще сохранилась здесь милая замоскворецкая глушь… Местные прохожие оглядываются на высокую сильную фигуру Элси, эксцентрично одетую в черный китайский полухалат нараспашку, с красно-зелено-белыми драконами на спине и на широких рукавах. Юбка чуть пониже колен, на ногах крепкие лосиные сандалии. Она ходит без шляпы, ветерок шевелит темно-серую прядку на лбу. Ее пытливый взгляд на ходу проникает сквозь калитки и заборы в тихие русские дворики, вероятно, так же, как где-нибудь в Сы-Чуани или на острове Бали.

— Вот, — говорю я, — наверно, скоро все это снесут.

Она пожимает плечами:

— Напрасно. Никто, кроме русских, так не строит, ломая все подряд. Это ваша национальная черта. Потом будете сожалеть, потеряв живые образы прошлого. А в Англии сохраняются здания тысячелетней давности, берегут старые деревья…

Идя рядом широкими шагами, она дает советы, как надо путешествовать.

1. Лучше всего в единственном числе — иди куда хочешь, стой там, где хочешь, и смотри сколько хочешь.

2. Не берите с собой чемоданы! Это связывает. Все на спине, но ни грамма лишнего — тяжесть не должна омрачать удовольствие, отнимать силы.

3. Пренебрегите комфортом. Терпите минимум удобств, получите максимум нового. И это укрепляет здоровье.

4. Приехав в какой-нибудь пункт, осмотрите все вокруг по радиальным маршрутам; не оставляйте запись в дневник на завтра — поблекнет.

5. Не доверяйте чужим, что бы ни предлагали, всюду кафе, рестораны, отели полны жуликов и авантюристов.

6. Ничего не бойтесь в природе — весь мир доступен смелому человеку.

Как благодарна я ей за эти советы! За этот дух независимости, который она в меня вселила! Я следовала им всегда, странствуя в меру своих возможностей в пределах наших неприступных границ. После конца сезона Миллман уехала неизвестно куда, растворилась в трех миллиардах жителей Земли, захватив с собой наши контрольные работы, заданные на тему «Ваши мечты». Простить себе не могу, что не разузнала о ней побольше, не спросила адрес — слишком неопытна еще была. Та прогулка совершила во мне решающий поворот: она увлекла меня востоковедением, отравила страстью к экзотике, внушила несбыточные надежды.

И вот разразилась, разлилась слезами третья туча: созвали общее собрание в полутемном клубе «фабрички». Парторг, профком и активисты критикуют, в чем-то обвиняют В. В. Ивашеву. Она сидит молча, понурив голову. У нее порок сердца, это меня беспокоит. Преданный Яшка С. пробует ее защитить, риску своей комсомольской репутацией, но его не слушают, требуют ее отстранения, велят голосовать: почти все «за». Я впервые дерзаю поднять руку «против» (сидящая рядом N. J. сняла с моей руки слишком заметный браслет). Инертная масса слушателей плохо понимает, в чем дело, за что травят директора и что происходит «за сценой», ведет себя стадно, подгоняемая длинным кнутом общественности и партактива. Заканчивая собрание, председатель президиума объявляет, что все московские курсы иностранных языков — ВКНЯ, Чичеринские, Степановские, «Главнаука» — сливаются в один котел, то бишь новый институт, куда нас всех автоматически зачисляют; впрочем, желающие могут поступить на лингвистическое отделение 2-го МГУ. Объявляет курсы и собрание закрытыми. Всё.

Подавленные, расходимся по домам. Я не могу прийти в себя — неужели правда всему конец? Не будет больше этого любимого мирка

со всеми его людьми, науками, интересами? Почему? Для чего?! Как будто лечу в пропасть. Летом на даче не было покоя, колебалась, куда подать заявление. Мама опять решила по-своему, поехала в Москву и отдала меня в будущий Институт.

2. «Альма-мачеха»

Новоиспеченному Московскому институту новых языков (МИНЯ) выделили церковь «Трех радостей» на Покровке (подходящее название...) и пятый этаж в здании Наркомторга на Варварке. На субботнике чистили церковный двор, таскали кирпичи, убирали мусор. Наш третий курс занимался в Наркомторге — здесь ничто не напоминало об учебном заведении, это была типичная контора в темно-сером доме. Мы приходили к 6 часам вечера после ухода служащих в тесные, непроветренные комнатки. Сидеть не на чем — стульев, конечно, не хватает на тридцать человек, и вот мы бегаем по учреждению, берем их с боя или крадем в других отделах. За это ругают свои и чужие. Теснота непроходимая, сидим вразброд и на товарных ящиках среди громадных бидонов, стоящих в этом отделе Госмолока. Рисую карикатуры и придумываю расшифровки нашего нового названия «МИНЯ», например: «Мужайся И На Ящиках» или «Мы Изучаем Не тот Язык» и т. п. — чушь, пускаю их по рукам на уроке, и вся группа тихо смеется. А вообще нам не до смеха, нас часто перегоняют из комнаты в комнату или держат в коридоре и на лестнице; раза два-три занятия вовсе не состоялись из-за отсутствия помещения. К довершению всего, наркомат затеял капитальный ремонт своих этажей, все здание пропахло купоросом, олифой, масляной краской; мешая нам слушать лектора, тут же громко переговариваются рабочие, пилят, вовсю молотят по гвоздям, при нас навешивают дверь и красят.

Это форма, но и содержание не лучше. Насыщенную историей и филологией серьезную и практичную программу ВКНЯ заменили новой: теперь английскому языку здесь уделено 6-8 часов в неделю, остальное время — предметам на русском языке (четыре политдисциплины, техническая подготовка, военное дело и др.). Непонятно было, почему руководство так постаралось исказить хорошее начинание. Этого требовала общая конъюнктура. Наши любимые преподаватели уехали домой в Ленинград, в институт пришли другие — может быть, неплохие, но чужие: Василевская, Рубинштейн, Эше, Торсуев, Аникст, тогда еще совсем молодой литературовед. Директором МИНЯ была назначена его мать (арестована в 1937 году).

Зимой 1930/31 учебного года в Москве развернулась очередна кампания по ликбезу, решили покончить с неграмотностью в городе и в стране. Студентов направляли на заводы, в клубы и «красные уголки». Мне тоже вручили адрес: Сусальный переулок, конный двор. Это в Сыромятниках, за Курским вокзалом, на запасных путях. Надо идти. Смеркается. Хлопьями летит снег. Улица почти без домов, сараи, заборы. Никого нет. Нахожу двор, вернее, пустырь, заваленный сугробами. Слева барак, желтоватые окна засыпаны до половины. В лиловом сумраке справа торчат из-под снега оглобли, сладковато

пахнет сеном и конской мочой — значит, здесь. Немножко не по себе, однако я привыкла шататьс по трущобам, исследовать их, удирая с уроков из школы.

Вхожу в барак, три ступеньки вниз. Плохо видно, в сизом махорочном дыму висит на проводе одна тусклая лампочка. Душно. Галдеж. Ломовые в разлатых ушанках и армяках пьют чай и нечто покрепче, захваченное с собой. На голом столе разломанный-раскрошенный черный хлеб, ошурки колбасы, селедочные кости. Курят самокрутки и «козьи ножки», галдят, через каждое пятое слово упоминая гениталии с их функциями. В полумраке виднеется грубая стена, на ней лозунг: &AUML;&AGRAVE;&ARING;&OSLASH;&UUML; &ECIRC;&ICIRC;&IGRAVE;&IGRAVE;&OACUTE;&IACUTE;&EGRAVE;&NTILDE;& OGRAVE;&EGRAVE;ч&ARING;&NTILDE;&ECIRC;&EGRAVE;&EACUTE; &ATILDE;&OACUTE;&AELIG;&ARING;&ACIRC;&ICIRC;&EACUTE; &OGRAVE;P&AGRAVE;&IACUTE;&NTILDE;&IUML;&ICIRC;P&OGRAVE;!

Не зная, с чего начать, я зову с лестницы: «Где у вас тут комсорг или культорг?» На меня уставилось много полупьяных мужичьих глаз. Наконец вынырнул белобрысый тип в гимнастерке: «Девушка, чего тебе тут надо?» Объясняю. Он: «Ой, ликбез… нашли кого прислать! Парня сюда надо покрепче. Да не будут они учить ни фига. Уходи-ка ты отсюда, видишь, они того… уходи поскорей, пока не…» Мне было девятнадцать лет, но на вид шестнадцать, красна шапочка, шубка. Я убралась подобру-поздорову, пустилась почти бегом в сторону Садовой, загребая ботиками снег. На другой день доложила институтской культкомиссии — вняли и послали теперь на Басманную собирать по домкомам сведения о неграмотных дворниках, уборщицах и прислуге из деревни. Надо было составить списки, группы и начать, но не пришлось преподавать АБВГД здешним отсталым гражданам, у нас начался второй семестр.

Апрель. Очень тепло. Москва-река вышла из берегов, сильно затопила набережную и нижние переулки Зарядья. Пропуская бесцветные лекции, втроем-вчетвером спускаемся к воде по лесенке с Варварки по крутым уличкам XVII века. Разжигаю в себе неприязнь к институту, предвкушаю скорый отъезд на дачу. Однако нас продержали до 10 июня, потом объявили, что занятия продлятся до 1 июля, а затем пошлют на практику до 1 августа, да не по специальности, а на производство (надо «орабочить» гнилую интеллигенцию, была такая установка). Меня почему-то назначили не на завод, а на общественную работу по линии Охматмлада1. Теряя самообладание, сказала, что терпеть не могу материнства и младенчества — лучше в колхоз! На меня прикрикнули: «Это еще что за возражения?!» — «Ах, так! Ну, тогда прощайте!» Я взорвалась, швырнула на стол студенческий билет и хлопнула дверью. Вылетев из института, добежала до Александровского сада и затаилась на уединенной лавочке под цветущей сиренью. Перевела дыхание и стала обдумывать свою декларацию независимости от принудучебы. С «мачехой» было покончено. Впереди засияла свобода.

Местная элита

(Воспоминания о Влахернской, 1928-1941)(Воспоминания о Влахернской, 1928-1941)

Свистуха

Когда запретили снимать дачи в Раздорах, мы не знали, где будем жить летом. Нина Брагинская, моя подруга, недавно вышедшая замуж за молодого пианиста Арсени Толоконникова, предложила: «Приезжайте к нам в Свистуху, место замечательное!» И мы с мамой решили посмотреть. О! Более тысячи раз совершила я этот путь за 66 лет: Савеловский вокзал — 53 километра в поезде — сперва два, потом полтора, потом час до станции Влахернская, теперь «Турист». Но вернемся в 1928 год, в тот ясный майский день, когда я впервые вступила на эту землю. Маленькая платформа. Станция-вагон. За ней на горе женский монастырь: массивная церковь, высокая четырехгранная колокольня с пирамидкой, шариком и крестом наверху (ее видно отовсюду). Березовая роща, испещренная гнездами грачей, их оглушительный ор. По другую сторону железной дороги несколько стройных сосен, сквозь них синеет манящая даль... Мы прошли через монастырский парк, поселок Деденево, деревню Голявино и лесок на холме в Свистуху — около трех километров. Чистая деревня с широкой зеленой улицей, крепкие избы прикрыты цветущей сиренью. На одном конце прудик под плакучими березами, на другом — острый мыс над раздвоенным оврагом, по нему сбегает вниз глинистая дорога в долину реки Яхромы, на склонах его отдельные роскошные ели и кусты орешника.

Ходим, бродим, приглядываемся к дачам, не можем решить. Часов в пять вышли на этот мыс, присели на траву с весенними фиалками, вынули яйца, хлеб и ветчину. И вот к нам подходит бодрый полуседой мужчина в рубашке с засученными рукавами — отец Арсения, Василий Васильевич Толоконников, преподаватель музыки, пианист. Сел рядом и спросил:

— Ну, как?

— Очень хорошо! Но далеко, добираться трудно... — ответила мама.

— Если вы проживете здесь одно лето, вы никогда не покинете нашу местность...

Его пророчество сбылось: моя физическая и метафизическая связь с Влахернской неразрывна до сих пор, она растянулась на всю жизнь. Здесь было пережито все личное и общее. Я отразила ее красоту и свою любовь к ней в цикле стихов «Страна любимая» (так я ее назвала). Я собираюсь туда сейчас, весной 1995 года.

Мы сняли большую комнату с длинным открытым балконом в совсем новом, еще не потемневшем доме Буторова. Сада перед ним нет, но

сзади примыкает к огороду молодая елова чаща — днем прыгают белки, ночью пронзительно кричат совы. Ничего похожего на Раздоры! Дикая сочная природа: непроходимые заросли, крутые и глубокие овраги, высокие холмы-горы, изумительные виды.

Около Свистухи, среди ярко-зеленых лужаек и темно-зеленых перелесков, кое-где разбросаны старинные собственные дачи: Реформатских, Благоволиных, Барсовых, Толоконниковых, Невских и Пиотровских; за деревней у треугольного озерка стоят под елями «избушки на курьих ножках» художника Иванова. За живыми изгородями дач пестреют цветы, виднеются крокетные и теннисные площадки. В ложбинах между ними песчаные дорожки, а рядом, как в лесу, растут бледно-лиловые колокольчики, зеленовато-белая любка двулистная (душистая северная орхидея) и розовато-малиновые стрелы иван-чая, который любит глухие, таинственные места и наводит настороженное настроение. Хор множества птиц, стрекот, звон и жужжание массы насекомых — все так естественно, будто не нарушает священную тишину.

Мама довольна, папа тоже, хотя жалеет, что нет поблизости больших лесных массивов — здесь преобладают еловые и смешанные рощи. Ну, а я… счастлива неописуемо: мне шестнадцать лет, я кончила школу, вокруг неисследованный прекрасный Эдем, впереди — безбрежное море Жизни…

Нина и Арсений сделали себе шалаш в саду у Толоконниковых, устроили постель на ветках и соломе, зажили вдвоем, как дикари. Татьяна Михайловна, его мать, женщина сильная, энергичная и строгая, не очень одобряет этот брак, ей не нравится развязное поведение Нины. У родителей — приземистая дача, пышный цветник, за ним образцовый самодельный корт и второй дом, который они сдают. Мама купила мне в комиссионном магазине старую английскую ракетку с широким верхом и тонкой ручкой, ее прозвали «лопатой». Подача в те времена была мягче, переброска мячей выше, счет вели по-английски — только и слышалось play да out. Я скоро научилась сносно играть в теннис, но полное отсутствие азарта не дало мне влезть на спортивный олимп.

Июль. Вечереет. Штиль. Старшие сидят за чаем на террасе. Вас. Вас. за роялем, играет Рапсодию Листа. Мы, намахавшись ракетками, отдыхаем на ступеньках. Очарование серьезной музыки сливается с симфонией ароматов — в саду цветут лилии, флоксы, табак, левкой… так хорошо, что не хочется ни думать, ни говорить. На горе через ложбинку стоит чудной островерхий домик Арсения Васильевича Толоконникова, брата В. В. Седенький горбатый гном с бородкой клинышком и блестящими глазами, тоже музыкант, он теперь увлекается садоводством. Однажды в теплых сумерках мы с Ниной зашли к нему в гости. Поднялись по крутой лесенке в узкий треугольник мезонина. Дубовый стол, таз клубники, горшок сметаны. Гном угощает нас — ешьте вволю! После вкусового наслаждения духовное: Нина играет на скрипке, он на гитаре — странное сочетание. Мелодия вьется, льется, аккорды летят в открытое окно и, смешавшись

с мерным треском кузнечиков, растворяются в лиловых тонах летнего вечера, в благоухании гелиотропа и резеды — полузабытых цветов прошлого. Стою, слушаю, переживаю гармонию минут, открываю синестезию всех пяти чувств, исчезаю из себя…

В начале XX века, особенно в 20-е годы, в беллетристике вспыхнуло увлечение «колониальной экзотикой». Редьярд Киплинг, Джек Лондон, Джозеф Конрад, Сомерсет Моэм и другие рангом ниже, подражая им, по-новому ярко и более достоверно описали «бремя белого человека» под тропиками и нравы «туземцев» Южной Азии и островов Тихого океана. Они видели их своими глазами, тогда как романтики прошлого века писали понаслышке и, фантазируя, допускали ошибки, искажавшие местный колорит; изображая исламский Восток, сочинили некий пряный декоративный «ориент»: султаны, фонтаны, гаремы, одалиски… Новые авторы, вплетая психологию в приключения, географию и этнографию в захватывающие сюжеты, создали новый тип романа, ставший одной из примет нашего века. Он возбудил в рядовом западном читателе интерес к жизни и культуре далеких стран, мечты о путешествиях… Наряду с литературой этому увлечению способствовали и другие проявления духа эпохи: во-первых, серьезные и научные — раскопки в Египте и Двуречье, публикации удивительных памятников и переводы источников, отчасти влияние теософии, приоткрывшей европейцу (в искаженном виде) глубины индусской и буддийской мысли; во-вторых, несерьезные и модные — бурный рост приключенческого кино (тогда режиссеры Джоэ Май, Сесиль де-Милль и другие поставили первые многосерийные фильмы на псевдоэкваториальном фоне), и наконец, эстрада — пикантные песенки (Вертинский, Иза Кремер и т. п.).

Все это, конечно, давным-давно известно, исчерпано, устарело, однако хочу напомнить, потому что океанская волна захлестнула меня с головой. Я тоже увлеклась тропической экзотикой — пусть строгие эстеты порицают, а прагматики смеются надо мной, — я нашла в ней нечто родственное своей натуре, она определила вектор моих занятий и красной нитью пронизала всю жизнь. Дав волю воображению, я увидела необычную для русской деревни красоту влахернской природы сквозь эту радостную радужную призму.

1930 год, мы снова в Свистухе. Летом собралась небольшая компани молодежи: Арсений и Нина Толоконниковы, Женя и Тамара, ее сводные брат и сестра, их двоюродные — армяне Цацик и Ляля, дачники Толя и Элла Черкасские, студент Борис Распопов и я. Гуляем вечерком в поле по дороге в Минеево, иногда сидим у костра на краю отвесного берега Яхромы, поем под гитару цыганские, народные и советские песни. Однако невесело. Чего-то не хватает мне в этой среде. Разговоры банальные; книги и путешествия их не увлекают, отвлеченные темы не интересуют; ни о чем не спорят, убеждений нет — ни за, ни против. Легкий флирт, двусмысленные реплики, намеки, взгляды… совсем не нравится мне это, и я никому не нравлюсь, все равно: во мне зреет внутренний мир, готовый принять форму и раскрыться.

В конце августа единоличники Свистухи решили добровольно вступить в колхоз. Ни кулаков, ни бедняков среди них нет, никого не принуждали и не разоряли. Недоверчивые и скупые на всякий случай зарезали свиней и телят. Сознательные расстались с лошадьми, бабы отвели своих Дочек и Пестрянок на общий двор. На собрании в сельсовете спросили агитатора, надо ли обобществлять кур, собак и кошек? Он ответил — пока не надо. В одном из сараев устроили *общепит* (столовую), где здоровенных мужиков кормили два раза в день манной кашей. Через неделю разрешили взять домой овец. Колхозники опять стали варить щи да картошку дома. Передовая сельская молодежь устроила гулянье по поводу первого шага к коммунизму: несмотря на холодный дождь, все девки как одна оделись в черные бархатные платья с широкими голубыми и розовыми вставками из вискозного шелка. Целый день ходили по улице и под гармонь голосили песни и частушки Демьяна Бедного. 28 августа справляли таким же образом свой престольный праздник «Успленев» день (sic).

Записал с натуры летописец все, как было. Лета 1931

В 1933 году мы задержались в Москве до июля — маме захотелось посмотреть другие места. Съездили в Белопесоцкую под Каширой: бесконечная деревня на зыбучих песках, до Оки не добрались, чуть не увязли в размытой половодьем низине. Все не понравилось, уехали ни с чем. Побывав еще в Каменке на Горетовке и Веледникове на Истре, убедились, что лучше нашей Влахернской ничего нет. В Свистухе все дачи заняты. Зашли к Толоконниковым, они дали совет: Елена Федоровна Невская (их соседка, пониже, у реки) сдала свой дом под маленькую турбазу. Идем туда.

Оказалась свободна только одна комната на четыре кровати. Нас трое… Решили взять к себе Юру Полякова, племянника отца, и купили четыре путевки на все лето (стоили они совсем недорого тогда).

В будни на базе тихо, постоянно живут лишь пятнадцать человек, не имеющих никакого отношения к туризму. Рядом с нами за столом сидят Ольга Леонтьевна — полная пожилая дама в лиловом платье с кружевами, врач из глазной больницы; тоже не молодая, круглолицая художница Вера Николаевна Глинка, адвокат Сергей Николаевич Ридман, бывший барон, высокий сутулый господин с внушительным лицом — крупные черты, зоркий взгляд. Наш необыкновенно умный и серьезный дл своих двенадцати лет Юра подружился с этим стариком, они играют в шахматы и гуляют, разговаривая о политике и праве. Сергей Николаевич первый предсказал, что Юру ждет Академия наук.

В выходные дни на базе шумно. Приезжают на субботу и воскресенье группы студентов и рабочей молодежи. Не умолкает радио. Вечером танцы, наш культорг, низенькая, черненькая армянка Сусанна, бурно играет на рояле. Мест в доме не хватает, в саду ставят палатки. На стене «зала» висит план походов по окрестностям — кто их знает лучше меня? Охотно соглашаюсь быть инструктором туризма, гоняю группы по холмам и долинам, в Шустино, Курово, Ильинское и дальше

по реке в Глебездово — самую глухую деревеньку, скрытую за лесом на высоком берегу Яхромы. Однажды приехала группа американцев, пригодился мой английский язык. Показала им лучшие виды, без стеснения хвастаясь местностью (единственное, чем я хвастаюсь вообще). Они совсем не знакомы со здешней природой и были поражены сочностью диких цветов и трав. По июльской жаре 18 километров. Все они почти голые — мужчины в плавках, у женщин вместо лифчиков подвешены пестрые тряпочки. В таком виде они сели за стол — светская Е. Ф. Невская и строгая Клавдия Ивановна шокированы: у нас принято, как в Англии, to change for dinner1 — надевать рубашки и платья.

Читать на базе нечего, Невская подсказала, где можно достать книги. Справа через песчаную дорогу, в гуще очень старых елей стоит старая дача инженера Барсова (брата знаменитой певицы). Трухлявые ступеньки ведут на мрачную низкую террасу. Скрипят подгнившие половицы, дверь осела на петлях. Шагаю в темноту. Спертый воздух насыщен духом лекарств, псины и котов, ели не пропускают дневной свет в окна. В дальней комнате живут три старухи, девять собак и пять кошек. Навстречу встает стеариновая старушка-свечка в длинном черном платье, белоснежные волосы подобраны на темени в маленький узелок — Елена Васильевна Головина, жена бывшего председателя IV Думы при царе Николае II. Справа сидит на кровати бледное привидение с громадной головой — больная водянкой немка, бывшая учительница Арсеньевской гимназии. Слева на диване сморщенная черноглазая француженка оттуда же, это две ее приживалки; под ногами крутятся куцые собачонки. Я церемонно представилась, передала привет от Невской. Е. В. Головина (вылитая мисс Хэвишем из Диккенса) мне слабо улыбнулась и кивнула:

— Ах, parlez-vous francais?2 О, да… пожалуйста, возьмите… я достану, а вы присядьте.

В манерах сохранился оттенок гордости, отблеск этикета. Я из вежливости стою и оглядываюсь, любопытно. У окна овальный столик на одной ноге, на нем керосиновая лампа, чайник, разная рухлядь. На стенах коврики, картинки, фотографии. Треснувшие чашечки и сухие букетики на этажерке. Елена Васильевна подходит к шкафу и вынимает стопку французских романов времен Наполеона III, перевязанную бечевкой.

— S’il vous plait…3 Только они очень-очень старые; может быть, неинтересно?

— Нет-нет, что вы! Большое спасибо. Я скоро верну.

— Не хотите ли чаю? Mademoiselle, разогрейте, пожалуйста, чай. — Та встала, но я отказалась под предлогом, что недавно был завтрак на базе. Жму ее тяжелую от слабости худенькую ручку с тонкими пальцами: «До свиданья!»

— Заходите еще, нам так скучно…

— Непременно.

Выйдя на свежий воздух, я сделала глубокий вдох и выдох, отслоив реликтовое прошлое от своего молодого настоящего.

Экскурс. Бояре Головины владели обширной территорией от Икши до Яхромы еще в XVI веке, если не раньше. Потом Морозки со всеми полями отошли к Влахернскому монастырю; в XIX веке Шуколово с угодьями приобрели Волконские. Головины жили в господском доме справа от Деденева около железнодорожной линии, в нем теперь средняя школа.

Местные жители рассказывают о том, что лет сорок тому назад уже немолодая жена государственного деятел безумно влюбилась в очень молодого сына монастырского священника. Скрыть это в таком маленьком местечке было невозможно — последовал скандал, затем развод. Роман Е. В. длился до тех пор, пока этот попович не полюбил Лидию Ивановну, свою сверстницу — молодого врача деденевской больницы, на которой он скоро женился. Головина возненавидела «разлучницу», потеряв и любовника и мужа, она уединилась в родовом доме, который тоже потеряла в 1918 или 1919 году, — большевики выгнали ее на улицу без всего. Тогда Барсов приютил ее на своей даче, где я имела честь познакомиться с ней. Передаю эту историю схематически, по сплетням.

Лидия Ивановна — простой и отзывчивый человек, разносторонний опытный врач, ее уважает и любит весь район, и мы, дачники, все знаем ее, лечимся по пустякам. Она работала в больнице до глубокой старости и проживала в собственном доме на главной улице поселка. Е. В. Головина тоже дожила, кажется, до 90 лет почти рядом с ней и не простила…

Перед войной через участок Барсова было решено провести высоковольтную линию: когда начали рубить ели, она, протестуя и защищая их, легла поперек дороги. Рабочие подняли ее как перышко и отнесли в дом, а после того она не выходила и не смотрела в окно (тоже местная «легенда»). В начале войны обе приживалки умерли. Ее дочь Мавочка — Ирина Федоровна Головина, физик, сотрудник НИИ — таскала на себе тяжелые продукты из Москвы. Когда немцы подошли вплотную к Яхроме, наши взорвали железнодорожный мост через канал. Взять Дмитров немцам не удалось, фронт в наших краях был «на излете», повернул обратно… Ездить на Влахернскую стало невозможно, и поздней осенью Мавочка успела забрать в Москву самую знатную представительницу местной элиты.

Слухи витали с прошлого года: будут строить канал Волга-Москва. Над Влахернской нависла черная туча: он пересечет болотистую низину вдоль железнодорожной линии от Икши до Яхромы, отрежет Свистуху от станции, превратит реку в водохранилище, и многие деревни будут выселять. Аборигены отмахивались от этих слухов, и напрасно: летом 1933 года началось. Уже сносят Голявино, переселяют Морозки на гору, уже рубят заросли на трассе. Нагнали тысячи рабов. По дороге на

станцию зияет колоссальный ров, и в нем трещит одинокий экскаватор; для пешеходов оставлена узка «бровка», по обе стороны ее внизу копошатся в жидкой глине серо-бурые, как вши, существа в мокрых телогрейках. Моросит дождь… Они откидывают землю лопатами и толкают по доскам и грязи тяжеловесные примитивные тачки (бульдозеров еще нет в помине). Вся земля долины Яхромы разворочена и осквернена… Приехав из Москвы, мы с папой идем по этой перемычке на турбазу. Получили по карточкам хлеб. Скользко, пронизывает nw ветер. Снизу тянутся корявые, измазанные глиной руки, хрипят простуженные голоса: «Хлебушка подайте… Покурить бы… Киньте «бычка» (окурок)… Хлебца…»

Сбросили им хлеб, обойдемся, отец сунул в лапу пачку папирос, их тотчас же расхватали. Вдруг окрик: «Эй вы там, проходите, живо!» Наверху стоят солдаты в брезентовых плащах и синих фуражках НКВД. Хладнокровно курят «Беломор» и сплевывают в ров. А прохожие? Одни жалеют, бросают корки, ошурки, окурки; другие без оглядки спешат мимо (самим не хватает); третьи зло матерятся: «Туды их, сволочь, поделом сидят, шпионы, враги народа!» А кто они, die da unten?1 Раскулаченные мужики, инженеры-вредители, жалкие попы и поэты, неугодные партийные товарищи и прочие. Прохожие, рабы, конвой — все тот же русский народ-богоносец, моральный долг перед которым так терзал совесть возвышенных интеллигентов. В XIX веке барышни в платочках шли в народ, в XX веке народ вломился к ним в души в кованых сапогах.

На пригорке около станции отгорожен колючей проволокой облысевший участок, на нем расплющились гнусные бараки. От них разит вонью, тухлой рыбой и гнилой капустой. Зеки мрут «от живота», как мухи. Деденевские жители знают, что их тела зарывают кое-как в березовой роще около шоссе, что ночью их раскапывают и жрут голодные псы, но люди предпочитают молчать — и пожалеть-то страшно, не то что возмущаться: граждане, берегите свои нервы! Самое лучшее средство от меланхолии — не смотреть в ту сторону. Понятно. Никому не хочется угодить в ров…

Туристы и дачники тоже притихли; погода испортилась, жить на базе стало невесело и трудно, мы раньше времени уехали в Москву.

Заказник

К западу от железнодорожной линии за речкой Икшей, за лугом на холме находится заказник — смешанный лесок с отдельными соснами и густым орешником. Крутая зеленая просека перерезала его склон сверху вниз. Сбоку две дачи, один участок над другим. Сняли на лето 1931 года комнату в нижнем доме, но прожили в ней три дня: крыша течет — не капает, а льет прямо на кровать; в щелях меж бревен притаилась арми клопов; темно; хозяйка Арина Кондратьевна — растерзанная пьяная баба с красным лицом. Мама сходила в соседнюю деревню Целеево, сняла светлую чистую комнату, вернулась сразу на лошади, и мы переехали. Длинный застекленный балкон, вида из окон

нет, но на задворках… простор аж до Дмитрова — вся широкая долина реки Яхромы, окружающие холмы и леса. Деревня стоит на высокой горе против станции, до нее всего 10 минут. Передо мной открылся неисследованный «материк», более прекрасный, чем на стороне Свистухи.

Хозяева — Николай и Поля Колабановы — сильные молодые работяги: он — худой и темный, она — белокожая, рыжая и коренастая, может вскинуть на себя два пуда. У них есть лошадь, корова, телка, овцы, поросенок, 20 кур — так что молоко, яйца, картошку, капусту и зелень можно купить дома. Мама сидит на задворках в шезлонге, читает; мы с отцом пропадаем в чащах — здесь кругом овраги, сплошные леса. Много малины и грибов. Сбежав с горы, купаюсь в Икше — она непохожа на Яхрому, состоит из глубоких бочагов и проливов, скрытых осокой.

Днем встречала маму — не приехала. Иду по платформе, вижу, сидит на скамье, согнувшись и закрыв лицо ладонями, тоненькая старушка в белой кофточке и длинной серой юбке. Подхожу, спрашиваю: «Что с вами?» Она отводит руки, поднимает благородное и грустное лицо. Тонкий овал, черные брови, глаза — гранаты с золотинкой; тонкий нос, изящный рот чуть оттеняют усики. Лицо обрамляют причесанные на прямой пробор полуседые волосы.

— О, не беспокойтесь! Посижу, пройдет. Сердце… Жарко… — Голос — мягкое контральто с интонациями.

— Не могу ли я помочь?

— Спасибо, как-нибудь сама дойду. Мне туда, наверх, в Целеево.

— И мне туда же. Я вас провожу.

— Если нетрудно, пожалуйста…

— Да что вы, пустяки!

Я взяла ее под руку, тихо спустились с насыпи, затем через мост и в гору. На полпути остановились отдохнуть в березовой роще и познакомились.

Ее зовут Ольга Евлампиевна Истомина. Вдова бывшего (при царе) коменданта Кремля. Я случайно обмолвилась, что знаю английский, она просияла:

— Правда? Я так скучаю по нему! Начинаю забывать, книг нет, говорить не с кем…

— Да хоть сейчас, мне тоже здесь не с кем — let’s speak English!1

Она застеснялась, но напрасно: произношение очень хорошее. В детстве ее воспитывала англичанка, потом Арсеньевская гимназия и

соответствующая среда. Всему пришел конец: муж погиб, сын ушел к белым, выселили из квартиры в Кремле, вещи пришлось продать. Поселили на Тверской против телеграфа, во дворе, в проходной комнате за перегородкой. Летом служит нянькой при двух маленьких мальчишках в семье простецких дачников. Работать трудно, ей 67 лет, и здоровье слабое.

Проводив Ольгу Евлампиевну на другой конец деревни, я сбегала домой, принесла ей два английских романа. Стала часто навещать ее — меня тогда интересовали «бывшие» люди, она охотно говорила о прошлом.

Ольга Евлампиевна попросила мен проводить ее в заказник к своим друзьям Варфоломеевым, владельцам верхней дачи, и невольно ввела меня в дотоле незнакомый круг особенных людей. Наверху, справа от просеки, за калиткой стоит боком старый коричневый дом на высоком фундаменте; фасад, то есть длинный открытый балкон, выходит прямо на склон горы, сад и крышу нижней дачи. Сзади вплотную заросли, по сторонам — высокие прямые сосны; когда сквозь них сияет диск луны, получается японский эстамп. Рядом с домом — «хибарка», в ней низенькая комнатка с русской печкой.

Петр Поликарпович, еще не старый крепкий мужчина, работает целый день, пилит, чинит, копает; Ольга Дмитриевна, его жена (50-55 лет), очень худая и бледная, очень выносливая женщина в невзрачном платье и фартуке, в тяжелых разношенных «бахилах» на ногах и повязанном назад платочке на голове, тоже весь день занята хозяйством. У них двое детей — Таня шестнадцати лет и подросток Боря; есть корова, куры, два улья пчел, собака и кот.

Варфоломеевы родом из духовного звания или московских мещан. Зимой живут в тихом Годеиновском переулочке близ Арбатской площади, три четверти года здесь. Ольга Дмитриевна никогда не сердится, даже замечания детям делает ласково, причем никакой слащавости. Кто бы когда ни зашел, приветливая улыбка, нежный голос:

— Молочка не хотите ли? А может быть, щец похлебаем, с черным хлебцем? Свете тихий…

Ее кроткая доброта и еще «что-то» смущает меня.

По вечерам на шуколовскую гору не спеша поднимаются гуськом четыре странные фигуры — два брата и две сестры Величко, все неженатые и незамужние, всегда живут вместе в городе и на даче. Впереди шествует с дубинкой Сергей Вадимович, старший брат в «ермолке» на седом бобрике и в суконной тальме на плечах; брови, глаза и короткие усы черные. Это крепкий гриб-боровик, бывший гусар — сохранил военную выправку, купается в речке до морозов, хотя ему уже за семьдесят. За ним следом идет Валериан Вадимович, длинный старик, голубоглазый с пышными серыми усами. Врач-терапевт, человек, мягкий до нежности, бескорыстный «до глупости», — говорят,

он больше половины пациентов лечит даром. Затем следует с палочкой крайне худая, изжелта-бледная Наталья Вадимовна, старша сестра; на ней глухое черное платье до пят, в любую погоду. За ней семенит младшая сестра Зоя Вадимовна — полненькая, круглолицая, краснощекая и добродушная, с веселой улыбкой, в таком же длинном, но сером платье; обе носят белые детские панамки. Все они идут наверх любоваться закатом.

Они купили нижнюю дачу у Арины (где мы жили три дня), починили крышу, истребили клопов, но все равно в ней сыро, ветхо и темно. Встречая их на дороге, здороваюсь, рассыпаясь в приветствиях, так как хочу ближе познакомиться с ними. Это отчасти удалось, они стали принимать меня сперва на даче, потом и в Москве. Живут они в Большом Каретном переулке в глубине двора, на первом этаже того самого деревянного домика, в подвале которого родилась и росла великая артистка Малого театра М. Н. Ермолова. Квартира Величко — настоящий лабиринт, можно заблудиться в узких проходах между шкафами и стеллажами, набитыми книгами: потрепанные бумажные корешки, потускневшее золото обрезов, кожаные переплеты, — хотя никто из Величко не был ученым, это была норма в жилище интеллигентной московской семьи. Протиснувшись, гость попадает в центр лабиринта — большую, но не менее тесную столовую. В середине окруженный шкафами квадратный стол со своими шестью солидными старинными стульями, покрыт скатертью, никаких клеенок! Коллекция редких чашек не за стеклом, а на столе, из них пьют каждый день сами и подают гостям без разбора. Невозможно описать banji — «10 000 вещей» на этажерках, полках и полочках, цветы на окнах, картины и все остальное. Последние носители старорусского духа, московских традиций в 1932 году… Несмотря на свою молодость и недостаток образования в дореволюционном смысле слова, я понимала всю ценность этих людей, уходящих в прошлое вместе со своей культурой, непритворным гостеприимством и бытом. Не решаясь расспрашивать, я так и не узнала подробностей их жизни, на две трети прошедшей в XIX веке: а на что я, дитя нового поколения, могла рассчитывать? И то хорошо, что запомнила их имена, лица и голоса.

…Забежав днем к Ольге Евлампиевне, я застала у нее девушку неописуемой красоты: античные черты лица, озаренные византийской духовностью; строгий профиль и правильный овал белого лица с легким румянцем; темно-каштановые косы обвивают голову двойным венцом; густые брови с грустным изгибом; излучающие внутренний свет серые глаза; губы классической формы очерчены индивидуально. Рост выше среднего, фигура стройная, пышная в расцвете молодости и здоровья. Одета в простое летнее платье, никаких украшений. Рассматриваю ее исподволь, не могу наглядеться. О. Е. познакомила меня с ней: «Зоя Киселева, наша любимица, наша гордость! Сейчас гостит у Величко — мы все давно и близко знакомы…» Зоя скоро ушла, и я узнала от О. Е., что она дочь профессора химии Киселева, ей 25 лет, у нее есть сестра Катя и брат Виктор.

Встав на восходе, я вышла погулять на плоскогорье справа от деревни. Иду по прямой дороге навстречу Солнцу. Утро безоблачное, росистое;

по бокам стеной стоит литая с металлическим оттенком зеленовато-желтая пшеница — уже середина июля. Вдруг я увидела впереди Зою в белом платье с горстью васильков в руке, идет, гордо закинув свою венчанную голову. Почти горизонтальные лучи, преломляясь в утренней мгле, высвечивают ее чистую ауру. Вдали за речкой блестят на белой колокольне монастыря золотая луковка и крест — аллегорический фон… Картина близка к совершенству. Боясь нарушить ее, восхищаясь, я бесшумно крадусь в сорока шагах, преследуя Прекрасное…

Бывая каждым летом в заказнике, я встречала Зою в обществе ее друзей, разговоры скользили по общим местам, личного контакта не возникло: мы были рождены в разных духовных планах, наши интересы не совпадали и даже не соприкасались.

Но все же периферийное знакомство с Киселевыми состоялось, я раза два была у них в Москве, на Зубовском бульваре (он славился тогда липами и одуванчиками в густой траве). В конце двора притулился к стене соседнего дома игрушечный особнячок. Три ступеньки, вестибюльчик — и дверь прямо в столовую. На обеденном столе груда мешочков, пакетов и кульков, на стульях фанерные ящики для посылок. Мелитина Григорьевна (мать), Зоя и Катя деловито упаковывают продукты — отправляют одиннадцать посылок на Украину. В результате насильственной коллективизации и беспощадных хлебозаготовок там разразился кошмарный голод. Государство дочиста обобрало крестьян, люди умирали тысячами, их тела разлагались в хатах и на улицах сел и деревень… такое ни понять, ни простить, ни забыть нельзя. Я постояла, посмотрела и, почувствовав себя лишней, скоро ушла; я бессознательно стеснялась их нравственного превосходства.

Зоя — самый сложный портрет в моей галерее, и не мне бы его писать. Воссоздать ее образ, поднять на него руку с пером — с моей стороны дерзость, слишком мало, поверхностно знала я ее тогда и после. Она была старше меня на шесть лет и морально выше. Трудно, нельзя выразить ее духовную и физическую красоту ни простыми, ни возвышенными словами, не имея понятия об ее внутреннем мире, она была замкнута с чужими. Но лучше я, чем никто.

Надежда Александровна Строганова, жена ученого, сама образованная отлично (гимназия, Высшие женские курсы и Сорбонна), — женщина лет шестидесяти; острый ум, холерический темперамент. Внешность относится к тому реликтовому типу, который мне повезло застать в живых: смуглое сухое лицо, жгучие черные глаза протыкают тебя насквозь; так же забраны на тем волосы, но заколоты небрежно, темно-серые пряди выбиваются из допотопной прически; такой же черный балахон без пояса, от горла до земли, с узкими рукавами до пальцев облегает ее тощее подвижное тело.

Строганова приехала к Варфоломеевым отдыхать, общаться с близкими по духу людьми. Насколько видно со стороны, все уважают ее, подчиняются ее воле. Вот на самом верху просеки под сосной сидят они

втроем на подстилке: Таня Варфоломеева — беленькая застенчивая голубка, запинаясь, детским голоском читает Евангелие. Зоя шьет, опустив голову и ресницы, лицо ее печально и серьезно. Надежда Александровна слушает и комментирует каждый абзац, каждую строку. Я подсела на траву, она, как бы соглашаясь, кивнула. Меня прельщает ее эрудиция, она, кажется, интересуется мной, прощупывает знани и взгляды. Я не боюсь спорить с ней о Спинозе, Лейбнице и Бергсоне, отстаивать Восток — она его резко отвергает, переходит в наступление, решив обратить меня, подчинить себе, как наивную Таню и глубоко верующую Зою. Происходят такие, например, диалоги:

— А вы ходите в церковь?

— Иногда, на похороны. И к заутрене, ради настроения — посмотреть на крестный ход, на свечи, лица… по традиции, конечно.

— Какой ужас! Где ваша душа? — Она припугнула меня адом.

И еще:

— Вы читали «Столп и утверждение Истины» Флоренского?

— Нет. Нет еще…

— Очень жаль. Напрасно — Тане шестнадцать лет, она его знает и понимает.

— До сих пор не попадался, но о нем говорят, что трудно понять.

— Стыдно. Вы — крещеный русский человек, занимаетесь философией как язычник! Пора заложить фундамент православной веры.

Флоренского прочитать ей обещала (но не исполнила: книга показалась слишком мудреной). Так как я вольный кочевник на просторах мысли, на таком тяжелом фундаменте строиться не хочу и забивать сваи догматов в себя не дам. Легко держась за ветки Природы, я совсем не поддаюсь агрессивному влиянию извне.

Тем не менее мы продолжали беседовать о высоких материях. В Москве Строгановы жили в Кривоникольском переулке, что позади Арбата, в неуютной коммунальной квартире. В комнате Н. А. стоял многоярусный киот, мигали две лампады, иконы были завешаны платками от нежелательных советских глаз. Жильцы были все «свои» — странноватая особа Валентина Наполеоновна Кугушева, высокая девушка без ноги, на костылях, и какие-то две старухи.

Война зажгла в Н. А. Строгановой пламя патриотизма. Непримиримая ненависть, инфляция и нехватка продуктов питани выжгли ее душу и тело — остались кожа да кости. В последний раз я посетила ее поздней осенью 1941 года, когда немцы вплотную подступили к Москве. На мой риторический вопрос «Что-то с нами будет?» она срывающимся голосом в ответ: «Не с нами, а со Святой Русью!!» В мрачных глазах ее дымилс

гнев. Дико возбужденная, взлохмаченная, злая, Н. А. при всей своей истинноправославности стала похожа на ведьму. Через полгода великим постом 1942 года она умерла от истощения.

Помимо всего этого мне было неизвестно, что именно тогда, в начале 30-х годов, Зоя Киселева переживала сложную личную драму: в нее страстно влюбился женатый человек — молодой художник (?) Сережа Мусатов, она тоже сильно полюбила его. Он был обвенчан в церкви с Аней Егоровой и, несмотр на это, решил разводиться. Зоя боролась со своим чувством, но не выдержала и дала согласие; после развода они должны были вступить в гражданский брак (истинно православные его законным не считали). Н. А. Строганова была категорически против. Она имела на Зою свои виды: употребив всю свою фанатическую волю, убедила, заставила ее отречься от этого чувства, «грешного» брака и стать монахиней в миру (женские монастыри все были закрыты). Мусатов хотел покончить с собой. Когда опомнился, развелся с Егоровой и года через три, «назло» себе, сделал предложение юной художнице Алле Бурджис. Прожив с ним семь лет, она ушла к его другу, поэту Даниилу Андрееву, и посвятила тому всю жизнь. Она и поведала мне эту грустную романтичную историю через много-много лет.

А жизнь Зои была согнута, надломлена деспотизмом Н. А. Она ушла в себя и вскоре исчезла из вида — заболела тяжелой формой энцефалита. Ее лечил Валериан Вадимович Величко, и только от него мы знали, что она жива. Лет через десять она понемногу поправилась, но это была уже не та Зоя — из древнегреческой богини она превратилась в скорбную икону старого письма. Изможденная физически и психически, она работала секретаршей в каком-то маленьком музее. Через полвека навестила я Зою в Деденеве в их собственной дачке. Был жаркий июльский день... Мы пили чай, спокойно разговаривая о прошлом и настоящем. Остатки ее былой красоты преобразились в благообразие. Она — мраморная, в старушечьей кофте и длинной юбке, я — в коротком огненно-красном платье без рукавов, загорелая, как всегда — полюса единой метасферы.

Да, я увлекалась тогда историей философии и японской литературой, но мои представления о религии были примитивны: люди делятся на верующих и неверующих; верующие на христиан, иудеев и мусульман; христиане — на православных, католиков и лютеран. Есть еще какие-то секты. На таком низком уровне я не могла определить, что же отличает обитателей заказника от моих религиозных бабушек и знакомых, с которыми я вела себя непринужденно. Варфоломеевы и Величко, даже Строганова, принимали меня всегда радушно, однако между ними и мной висела незримая вуаль, за ней витала неуловимая тайна. Я ощущала это, но не подозревала, что они не доверяют мне и, должно быть, боятся: ведь работала с иностранцами! В таких дьявольских местах, как ВОКС и Коминтерн... Я предложила Ольге Дмитриевне привести к ним своего японского друга Еси Хидзиката (он жил на даче в Шуколове), она мне деликатно отказала. Я была «не наша». Почему?

Позже я узнала почему: они все принадлежали к истинно православным — к так называемой «катакомбной церкви». В ноябре 1917 года Всероссийский поместный Собор вновь избрал (после реформы Петра I) патриарха Московского и всея Руси. Им стал Тихон (В. И. Белавин), который не признал советскую власть, однако предложил пожертвовать ей часть церковного золота на помощь голодающим. Это было отвергнуто, и Тихон призвал церковь не подчиняться антихристу. Большевики начали преследовать духовенство, истинно православные ушли в «катакомбы», то есть в подполье, спасаясь от репрессий. После смерти Тихона в 1925 году патриархом стал Сергий, склонный к примирению с советским правительством, но тихоновцы не присоединились к легальным сергианцам и продолжали жить обособленно от них, скрывая свою веру. Она выразилась в смиренной душе Ольги Дмитриевны, в культуре и порядочности четырех Величек, в миссионерском деспотизме Строгановой и в чистом самоотречении Зои. Эти общие определения не выражают и десятой доли их духовной жизни, для чужого недоступной. Один путь к взаимопониманию — терпимость, другой — уверовать и примкнуть.

Соединю конец с началом, вернусь в Целеево, в 1931 год. Нравы населения в каждой деревне разные — шуколовские сплочены и трудолюбивы; данилихинские лентяи, поэтому бедняки; новлянские — «людоеды», у них не раз случались убийства; целеевские — сварливы, часто ругаются и дерутся. От их характеров зависит и характер коллективизации. Осенью сильно поднажали сверху, и снизу поднялась смута. Весь день на улице галдеж. Больше всех орет и размахивает руками плюгавый мужичонка по прозвищу Горлопан. Им надо решить, кому что сдавать в колхоз, кто бедняк, кто середняк, а кто кулак. Богатые рвутся в бедняки, прячут добро, бедные рвутся им завладеть, доносят на ближнего своего. Погода плохая, дождь, грязь — улицу перейти нельзя.

Поздно вечером к нам ворвалась хозяйка Поля с парой новых сапог в руках:

— Спрячьте ради Бога! Скажите, что ваши! Беда! Нас в кулаки записали…

Папа засунул сапоги под свою кровать. Смахнув слезинку, она робко спрашивает:

— А… можно еще что-нибудь?

— Тащи, но только поскорее!

Поля успела принести швейную машинку, самовар, валенки и тулуп.

Мама уложила его под матрац, постелила постель и легла — кто подумает: летом у дачников — тулуп… Нам было не до сна. Ночью протопали по балкону, грохнули в дверь. Николай выскочил в окно из кухни в огород и бежал. Поля, помедлив, открыла — ввалилась комиссия «по есприпряции» (экспроприации) из своих и

уполномоченный из Дмитровского райкома ВКП(б). Дом обыскали и ограбили; две бабы-активистки незаметно отлучились в хлев, вывели телочку и прихватили двух сонных кур; мордастый парень запихал в мешок визжащего поросенка. Мужички расписались в ведомости и смылись, забрав лошадь и корову в «обчественное пользование». Рано утром непроглядный туман, только +90С. Поля с двумя узлами через плечо ушла к матери на Икшу, в поселок Пчелка (потом украдкой приходила к нам за вещами). Николай скрывался три месяца, его поймали, сослали — умер где-то на Севере. Шквал пронесся по всей деревне. Самых зажиточных арестовали. Спичкину с трем детьми выгнали со двора, они до снега прятались в лесу, затем куда-то ушли. Их избу-пятистенку конфисковали под сельсовет. Пострадало еще две семьи. Говорят, мало — в других местах было похуже. К вечеру все новые колхозники перепились до мордобития. Нам велели выметаться в Москву, так как в дом Колабановых вселяется детсад.

Шуколово

Один раз в жизни переживает человек свое акме. Молодость. Здоровье. Активность. Творчество. Мечта. Когда все это сливается в фокусе, зажигается Счастье. Так было в Шуколове, где мы в общем прожили восемь жарких веселых лет. Заказник «охраняют» по бокам две горы повыше, на севере Целеево, на юге Шуколово, до них по километру. В 1932 году мы сняли дачу у Власовых и жили у них подряд пять лет. Хозяин Федосей Власов — высокий статный человек, гладко выбритый, чистоплотный и честный необыкновенно, у него честь вросла в самолюбие. Он работает в Москве поваром в кремлевской столовой. Кормит сильных мира сего и не говорит о них ни слова. Себе привозит в сумках немало еды, это ему разрешено (иначе не взял бы ни крошки). Хозяйка Анна Терентьевна, попросту Нюша, — главная свинарка колхоза. Очень женственна, очень приветлива и тактична, как светская дама. Полноватая, чуть-чуть томная, светло-русая. Цвет лица, голос, манеры мягкие. У них трое детей: Маня (11 лет), простодушная девчонка, ярко-рыжая, с малиново-рыжим от веснушек лицом; Митя (9 лет), тонкий слабенький мечтатель, тихоня; Петя (6), крепыш, увлекается пастухами и кнутами. Позже при нас родилс дома еще Володя; помню, я пришла с сеновала в 8 утра и сразу увидела на кровати новоиспеченное красненькое существо. По вечерам трое терпеливо ждут мен у ворот сарая — перед сном рассказываю им сказки, мифы и страшные истории. Маня ходит за мной по пятам, как оруженосец, я помогаю ей учиться, ходим вместе за водой на пруд. Я, забавляясь, задаю ей серьезные вопросы:

— Что такое эмпириокритицизм?

— Чегой-то?

Я не думаю объяснять, упрекаю ее в невежестве:

— Ай, как не стыдно! Ничего-то ты не знаешь…

Обе смеемся.

Хозяева ждут нас в мае, все вымыто; комната большая, новая, бревна и доски светло-желтые; три окна по фасаду, одно сбоку (в него прыгает туда-сюда наша тигрица Бетси).

Электричества нет, у нас лампа-«молния» и две керосинки. Хозяйство у Власовых полное и аккуратное. Корова Пестрянка, теленок, четыре овцы, свинья, двенадцать кур, пес и кошка. По вечерам смотрю на пригон стада — какая корова первой войдет в деревню: красная — к ведру, черная — к дождю. Стоим вместе с кошкой рядом, ждем, когда наполнится белое ведро и Нюша нальет нам парного молока. Я научилась доить корову. Прикосновение к ее теплым тугим соскам будит во мне такое глубинное постижение материнства, что даже выразить нельзя. Вероятно, именно это телячье чувство называется в Индии vatsalia. Некоторым людям, близким к природе, удается познать в себе архетипные животные чувства — быть настороже, спасаться бегством, прятать добычу и т. п. Черный хлеб — объедение: настоящий ржаной и свой. Она печет его утром себе и нам за отдельную плату. К завтраку на открытой веранде, увитой хмелем, обычно глазунь с зеленым луком, творог со сметаной, настоящий кофе с молоком; иногда папе и мне по бифштексу с кровинкой и салатик. Обедаем в три часа, чай с вареньем или медом в пять, ужинаем в девять рассыпчатой вареной картошкой без единого атома нитратов.

Дом наш наверху, против церкви; перед ним палисадник, сирень и куст жасмина, с которым связано много эмоций… справа от входа огород, сзади фруктовый сад и две грандиозные трехсотлетние липы, между ними деревянный столик и скамья — тут я занимаюсь; мама сидит рядом в своем шезлонге, папа в соломенном кресле. Пушистая Бетси разлеглась на столе, жарко. Изумрудная трава рдеет золотом одуванчиков. В саду треугольный погреб с соломенной крышей, плетень, за ним белеет ромашками усадьба. На ней сеновал, полный ласточек, и сказочный амбарчик из темно-серых бревен, с двумя ступеньками, с косоватой дверцей, запертой увесистым замком; внутри закрома, пахнет мукой. С усадьбы восхитительный вид на заказник, линию, монастырь и дымчатую даль.

Шуколово делится на верх и низ. Его единственная узка тенистая улица очень круто спускается с горы в долину Икши. Церковь XVII века с прямой колокольней стоит на вершине. Мы застали ее еще открытой, видели свечки и березки в Троицын день; через два года ее закрыли, загадили, разбили окна, растаскали оригинальную белую ограду, потом рухнула крыша, остов зарос бурьяном и крапивой. Около церкви большой пруд, сплошь заросший ряской, окаймленный валом с вековыми вязами. Далее тонут в лопухах, лебеде и полыни конюшня, коровник и свинарник. Шуколовский овраг (длина 3 км) с ручьем на дне глубок и дик, на крутых склонах его дуб, клен, осина, береза и ель; есть просветы и лужайки, с них виды на противоположную гору и деревню Новлянки — но чем глубже, тем глуше он и в середине почти непроходим. На самом краю оврага стоит очень нелепое деревянное здание с надстройкой, так называемый «Савенар»: это остаток дома князей Волконских (декабрист Волконский жил здесь после ссылки). В конце XIX века его купил француз, коммерсант Савенар; после

революции комитет бедноты поселил в нем постороннюю голытьбу, пьяниц чернорабочих, наводящих теперь страх на все село. За околицей луг, кладбище и поля.

Шуколовские аборигены делятся на два «клана» — Широковых и Талеевых с примесью Власовых. Все опрятны, как немцы, трудолюбивы, как китайцы, одинаково зажиточны и дружелюбны. Избы чистые и прочные, стоят на склоне одна под другой. Трагедия раскулачивания миновала их оттого, что все жители — родичи и середняки: почуяв беду, благоразумно вступили в колхоз и взялись за дело, еще больше разбогатели. Стадо небольшое, но упитанное, чистое; на трудодни получают много, как ни запутан этот расчет на … Так было до нового бедствия — укрупнения колхозов при Хрущеве. Оно и загубило советское сельское хозяйство… Объединяли по двадцать-двадцать пять деревень, ликвидировали отдельные хорошие фермы, включали пьющих, ленивых, как в Данилихе, бездельников. Шуколовские работяги возмущались и потеряли «охотку» на них работать; все начало приходить в упадок — впрочем, это случилось гораздо позже.

Рядом с нами бывший дом священника. Его отдали леснику Тягачеву, мужику хитрому и жестокому; бьет жену и животных, спьяна отрезал нижнюю губу своей лошади. У него шесть сыновей, все в папашу. Самый озорной — Васька, младший. В те годы сезонные пастухи «стояли на череду» у хозяев по двое-трое суток. В Шуколово приходил старик из Твери со своим шестнадцатилетним внуком-подпаском, простодушные берендеи. И вот поздней осенью Васька Тягачев, балуясь с отцовским ружьем, прицелился через стол и убил наповал этого мальчика. Дело это Тягачев-старший замял водкой и взятками… Старик ушел навсегда, и на заре замолкла у нас нежная мелодийка его свирели…

Рядом на горе изба вдовы Аксиньи. У нее спасается от притеснений бывша монахиня мать Ариадна; помогает по хозяйству, бьет, стегает ватные одеяла; потихоньку ночуют еще две матушки; никто не доносит — грех… Пониже стоит дом Алексея Широкова и его злющей бабы Настасьи. Еще ниже Настя Талеева, у нее живут на даче Кудряшовы. Еще ниже — изба Феклы Талеевой, с маленькой пристройкой сзади — два оконца в огород и вид на заказник. Посередине спуска — глубокий колодец с валом, цепью и дубовой бадьей, «бабий клуб», за ним уже низ. Там живет в родовой избе мать Федосея, бабушка Прасковья, женщина умная и волевая. От нее я узнала несколько местных слов: *салушка* — чуланчик для дров; *салощая* — жадная (корова, овца); *молосина* — все молочные продукты; *молины* — свадебный обряд, еще бытовавший в Шуколове (молодые обходят дворы, молят-просят на жизнь, им подают деньги); *мелис* — сахар (срав. шведское melis «сахар» и французское melis «сахарная голова», а также греческое melissa — трава-медовка, все со значением «сладкий»). Против Прасковьи дома Марьи Степановны Широковой, Малашки и других, всех не перечислишь, бумаги не хватит. Деревня кончается у низкой поймы реки Икши.

Т е н и к а н а л а. На канале Волга-Москва развернулась гигантская стройка века. Изнуренные голодом и трудом заключенные осмелели, одни стали подавать жалобы, другие ухитрялись бежать, скрывались в лесах. Местные называли их «копаликами», «канальями» и очень боялись. Гулять стало опасно.

Один раз мы вдвоем с папой углубились в необъятный новлянский лес — грибов там было много… Вышли на поляну и столкнулись с оборванцем. Он окинул нас волчьим взглядом: на папе рубашка и белые брюки, на мне сарафан на голом теле.

— Документы, деньги есть? — буркнул бродяга.

Папа ему:

— Ничего нет, можешь обыскать.

— А курево есть?

— Вот это пожалуйста. Давай-ка покурим.

Папа вынул из кармана коробку «Дуката», спички. Они сели на бревно и задымили, я отошла в сторонку, о чем говорят — не слышу. Когда кончили, отец отдал беглому каторжнику папиросы и спички, тот канул в кусты, а мы рванули обратно. Папа рассказывал:

— Подумай только, он был парторгом на заводе! Сел за троцкизм, получил двадцать лет. Сбежал три дня тому назад, обокрал продуктовый ларек. Но ему нужен паспорт. Грабить нас не хотел, а захотел бы, я бы скрутил его в два счета — совсем тощий, слабый. Черт знает что! — Идем удрученные молча, потом он добавил: — В общем-то, мы отделались легко — был бы блатной с ножом, был бы капут!

— А ты бери с собой нож! Твой складной…

— Нет уж, хватит, я жить хочу. И ты матери ничего об этом не говори.

В другой раз я шлялась одна где-то около станции босиком в выгоревшем добела на спине синем платье, кожа цвета спелого ореха. На линии я перелезла через кучу угл — ноги пыльные, черные до колен. Вдруг меня остановил канальский охранник, пристал с расспросами, кто да что… Ничему не верит — принял за беглую рабыню. Пхнул в бок, облаял:

— Врешь, б… идем в милицию на х… там разберутся…

Плохо дело. Мне пришла в голову отчаянная мысль, иначе выхода нет:

— Зачем сразу в милицию? Вон там дача доктора Сперанского, меня там знают и подтвердят, что я дачница. Пошли!

Он замялся и согласился. Миновали платформу, подошли к калитке. Он: «Эй, кто-нибудь есть?» Подошла их степенная старая няня. Я объяснила, в чем дело. Она:

— Да, знаю, знаю. Это наша барышня, они часто на теннис приходят, а живут в Шуколове, эва на той горе.

Солдат плюнул, ушел ни с чем, а я чувствовала себя очень неловко: никогда не являлась к ним в таком неприличном виде. К счастью, все отдыхали после обеда. Я отправилась домой окольным путем, выкупалась в Икше, отмыла ноги. Маме опять не сказала ни слова, она от всего впадает в панику, и мне бы здорово досталось. Папа смеялся надо мной — поделом!

К Сперанским прихожу на теннис в самом европейском спортивном стиле: прямое белое платье до колен, без рукавов, с отложным воротником и пояском; белая панама или «тюрбан» — у них площадка на солнце, белые теннисные туфли; в руке моя странная ракетка. От станции две минуты и с рельсов налево. За калиткой дорожка к светло-серому двухэтажному дому с двумя большими балконами внизу и наверху. Участок окружен высокими деревьями, слева стена из старых елей. Сад спускается к реке Икше, в нем корт ниже дома. Сперанские поселились здесь раньше всех — как только открылась Савеловская железна дорога (в 1906 году). Воображаю, какой был рай *тогда*... Глава семьи Георгий Нестерович — известный всей Москве педиатр, его жена, Елизавета Петровна, — сестра знаменитого окулиста В. П. Филатова. Трое детей: старшая дочь Кат живет в Англии, пишет романы под псевдонимом Кэй Линн; сын Сережа — молодой инженер, он женат на Кире Постниковой, дочери не менее известного хирурга Постникова и О. П. Сорокоумовской (из бывших купцов-миллионеров); младшая дочь Нал — студентка Геолого-разведочного института. В семье принят английский стиль, английский язык и светские манеры. Елизавета Петровна сама напоминает Бетси Тротвуд из «Давида Копперфилда»: среднего роста, крепкая, строговатая леди... в рабочем платье, в садовых перчатках без пальцев; в корзинке, висящей на локте, лежат ножницы, секатор, бечевка — она все утро в саду, ухаживает за цветами. Ее любимое детище — породистый душистый горошек, арка-аллея из вьющихся стеблей с крупными, нежно благоухающими цветами всех нежных оттенков радуги. А по бокам лестницы на балкон тремя уступами пламенеют в ящиках замечательные настурции, от огненно-красных и ярко-оранжевых до ярко-желтых.

Не все допускаются на балкон и в дом, знакомая молодежь идет прямо на площадку, и не всякий может на ней играть; сама игра лучше и строже, чем у Толоконниковых и Невских, — здесь не принято кидаться как попало, стараются добиться мастерства, выигрыша, успеха. Лучше всех играет в теннис Кира — черноволосая, черноглазая, всегда оживленная и легкая, с огоньком: такой мне представляется Наташа Ростова. Нал Сперанская — беленькая, стриженая, современная. Близкой подругой их я не стала, так как одна старше на шесть лет, другая моложе на четыре года, к тому же я не светская барышня, слишком самоестественная, во мне просвечивает дикарь. Однако я

удостоилась чести бывать у них на теннисе, вероятно благодаря собственному увлечению всем английским, знанию языка и работе в таком престижном учреждении, как ВОКС. Нигде-то я не прихожусь ко двору.

…По пути на площадку я мимоходом заглядываю направо, на высокий застекленный балкон, где бывают за столом недосягаемые люди: художник Нестеров, композитор Василенко, хирурги Постников и Юдин, писательница Щепкина-Куперник… Что влечет их сюда? Несомненно, уникальная личность Владимира Петровича Филатова. Живя постоянно в Одессе, занимаясь научной работой, руководя своей прославленной клиникой, он приезжает летом отдыхать к сестре, потому что любит нашу Влахернскую и своих близких. Ростом высокий, солидный и добрый, Владимир Петрович при всем своем научном величии и славе в жизни прост и отзывчив: может вынуть соринку из глаза мужика на молотьбе, отнести капли деревенской бабке. Он — любящий отец: его сынишка Сережа, по прозвищу Ложкин, таскает нам мячи на теннисе; оба неразлучны — говорят, первая жена покинула Филатова… (?) Во второй раз он женился на своей ассистентке. На даче он общителен и остроумен — пишет стихи, фантазирует, шутит; придумал себе греческое имя Воталиф Филатидис (его фамилия наизнанку), сестру называет Лиспет, ее мужа — Геонес. Был у них в саду высокий пень, обрубок сосны — В. П. вырезал из него забавную фигуру фавна, раскрасил его и назвал Сперофилом. Обо всех этих персонажах сочинил историю в стихах.

Но главное его хобби — живопись. Филатов считает себя более художником, чем великим врачом! Гуляя по окрестностям, он выбирает «точки» для своих пейзажей и неутомимо пишет этюды маслом. Однажды осенью, в леденящий ветреный день, я заметила его на шуколовской горе около «Савенара»: сидит, скорчившись, на стульчике, такой большой, в куртке и полотняной шапочке, зазябшей рукой пишет с натуры громадную липу на краю обрыва. Подхожу — не замечает, так увлечен… Здороваюсь — поднял голову, будто проснулся; обычно розовое лицо побелело от холода — ведь простудиться может! С трудом убедила его бросить, идти к нам в теплый дом; напоила горячим чаем — потирая руки, улыбается, как ребенок, его добрые умные глаза выражают удовольствие, согрелся… Показывая свой любительский этюд, любуется им: «А ведь, кажется, неплохо? Правда?»

Измерить и осознать духовное величие и мировую славу Филатова я была не в состоянии. О его профессиональном опыте и мастерстве ходили легенды, и не только среди пациентов, но самым ценным в нем было не это, а его внутренний мир — мудрость и этика. Насколько я знаю, он увлекался в то время теософией или антропософией Штейнера. В 1935 году мы (папа, мама и я) случайно встретились с ним в Сочи, и В. П. предложил поехать с ним в коляске на гору Ахун. Узнав, что я интересуюсь философией, по дороге объяснил, что такое космический универсализм, — то, что мне было так близко, так нужно. Прибыв наверх, мы слазили на смотровую башню с головокружительным видом, покормили ручного медведя, купили сувениры; вернувшись вниз, роскошно пообедали вместе на «Ривьере»

под рокот волн. В. П. прочитал нам наизусть свою шуточную поэму о фавне Сперофиле и другие стихи.

Позже, в старости, Филатов, возможно, под влиянием своего друга — ученого и религиозного деятеля Войно-Ясенецкого, пришел к глубокому пониманию христианства. Рассуждать об этом я не имею права.

Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, побывав в гостях у Сперанских и оглядевшись вокруг, на следующее лето сняла дачу напротив, через линию, рядом с участком Василенко. Она приехала в 1935 году вместе с закадычной подругой Маргаритой Николаевной Ермоловой-Шубинской (дочерью великой артистки) и ее мужем Зелениным (врачом или юристом, не помню) и сразу стала душой общества. Миниатюрная, оживленная, чарующе-женственная с неженским умом и острым чувством юмора. Ей было за шестьдесят, но выглядела она молодо. Милое лицо, воздушные пепельные волосы подобраны свободно, в глазах играют ясный ум и творческий темперамент. Одевается Татьяна Львовна изящно и скромно — тонкая блузка с рюшами и брошкой на груди, с кружевным воротничком и расходящимися от локтя широкими рукавами, обыкновенная юбка. Ростом она ниже меня (как мама), но не худа и не полна.

Сущность ее неотразимого обаяния — талантливость натуры, она просвечивает ее мысли и слова. Ей все дается легко: иностранные языки, стихи, проза, переводы…

Э к с к у р с. Мне никогда не удалось бы сблизиться с ней, кабы не знакомство, уходящее корнями в XIX век. В ранней молодости Т. Л. написала детскую пьеску «Бумка». Для заглавной роли требовалась маленькая девочка. Малый театр обычно заимствовал детей из балетной школы Большого театра. Выбрали мою маму: ей было девять лет, но можно было дать шесть, так мала и худа она была. Она хорошо сыграла роль, Т. Л. была довольна, подарила ей коробку конфет и книгу Е. Сысоевой «Истори маленькой девочки» (из помещичьей жизни). На титульном листе Щепкина-Куперник написала: «Маленькой Тане от старшей Тани с пожеланием стать большой артисткой». Мама любила и берегла эту задушевную книгу как зеницу ока. Т. Л. пришла к нам в Шуколово, а мама уже привезла книгу и попросила «перерегистрировать» ее на мое имя, Т. Л. написала снова: «Большой дочке маленькой Тани — через сорок лет, на память о «Бумке». Прошло еще шестьдесят лет, и я храню ее как зеницу ока, но, к сожалению, именно этот лист с надписями пропал во время обыска.

Т. Л. любит сидеть у Сперанских на балконной лестнице меж пламенных настурций. За стволами синеет даль, серебрится на ветру листва, качается душистый горошек. Я подсаживаюсь ступенькой ниже и слушаю, слушаю ее рассказы об Атлантиде недавнего прошлого, ее мнени об авторах и книгах, ее литературные советы. Я как-то сболтнула, что — эпикуреец, оптимист, люблю есть, пить и веселиться. Т. Л. не без иронии заметила: «А вы глубоко поняли учение Эпикура? В сущности, оно грустно, скорее пессимистично, ведь междумирие пусто.

Дело вовсе не в мясе и вине — это вульгарный подход, mauvais genre. Никогда не употребляйте громких слов, не уяснив до конца их смысла». Я устыдилась и зарубила на носу это наставление.

Т. Л. приходит гулять в Шуколово со своей свитой. Маргарита Николаевна похожа на мать — такая же статная, округленная фигура, и в лице есть сходство, но его черты грубее. Характер очень странный, молчаливый, угрюмый. В Москве они все живут в доме Ермоловой на Тверском бульваре близ Никитских ворот. Я заходила туда раза два-три. Один марш прямой лестницы на второй этаж, дверь налево. Внутри обычное, чуть-чуть беспорядочное интеллигентское жилье — книги вперемежку с ценными вещами и «тряпьем». В 1928 году мы с мамой были в этом доме, прощались с М. Н. Ермоловой. Очередь не прекращалась весь день. Я увязалась за похоронной процессией, шла до загородного села Владыкино, где находилась ее могила до того, как ее перенесли на Новодевичье кладбище. Теперь две плиты с именами Маргариты Николаевны и Татьяны Львовны лежат, как верные стражи, у ее ног.

В 1935 году мне исполнилось 24 года — хорошее число, хорошая погода, хорошее настроение. I am on the top of my prosperity1: очень интересная работа, недурная карьера впереди. Решили справить как следует, пригласили к чаю Сперанских, Татьяну Львовну с друзьями, японцев Умэко и Еси, живших тогда в Шуколове. В саду под липами составили два стола, притащили все стулья и табуретки, заняли чашки у хозяев. На столе три сладких пирога, три миски варенья, две коробки конфет «Ассорти», две бутылки портвейна и огромный арбуз. Лиспет преподнесла мне букетик своего горошка и бутылку керосина (его тогда не хватало), Воталиф Филотидис написал по этому поводу остроумный сонет. Потом я отблагодарила его злободневными терцинами. Т. Л. подарила томик Мюссе. Сидели долго, до заката; провожали гостей вниз. Это был один из самых лучших, если не самый лучший, дней рождения в моей жизни.

Война!!! Все катится вниз. У нас на руках путевки — родители едут в Кисловодск, я на турбазу в Теберду. Пришлось их сдать, стоимость выплатили в рассрочку. Завыли первые тревоги, перепуганные москвичи — те, кто мог, — хлынули за город. Шуколово переполнено, занято все, что имеет четыре стены и крышу. Для нас нашлась одна комната у самой сварливой хозяйки, Настасьи Широковой. У Власовых живут Подгорные. Художник Бируля с дочерью рискнули поселиться в «Савенаре» среди воров и пьяниц; писатель Успенский теснится в чулане у Малашки; одни Кудряшовы на своем месте. Крестьяне в смятении: как нарочно, богатейший урожай — таскать не перетаскать картошку, капусту, зерно... Жить бы да жить в достатке! Надо прощаться с женой и детьми, надо бросать дом, надо убивать, надо умирать... Надо, потому что господа политики, там где-то, в своих дворцах, не сторговались и переругались — ведь не им самим убивать и умирать, народ сделает. В августе взяли Федосея, через месяц убили. Нюша плачет тихо, стыдливо; некоторые бабы по старинке воют. Газет в деревне нет, нацепили на церковь громкооратель — слушаем новости по радио. Ночью видим с горы — на юге, за 50 верст, зарево в полнеба:

ну, конец нашему дому со всем содержимым… нет, это горит пенька на пригородном заводе. Или: в полночь вдруг вдоль железнодорожной линии зажглись фонари — что это, распущенность? Вредительство? Предательство? Не знаем. Несмотря на это, дачники перезнакомились — надо же потрепаться о том, что с нами будет.

1 сентября Настасья выгнала нас на улицу. Перебрались к Фекле Талеевой. Боясь налетов, решили зимовать в Шуколове, перевезли шубы, теплые и ценные вещи. Отец работает в театре, в клубах, на «камуфляже», мама уехала к нему, живу одна. Осень небывало ранняя, холодная, ночью бывает на нуле и ниже. Печка в хижине по-прежнему сломана, дует в щели. Керосина мало, экономлю на лампе. Окна занавешены наглухо. Собачий холод, в хижине 2-3 градуса. Ложусь спать в девять под три шубы, не раздеваясь, утром вылезать из берлоги неохота и умываться в сенях неохота, руки красные, распухшие от ледяной воды. Проклятая политика! Я — за всемирное разоружение вплоть до кухонного ножа, но это несбыточная мечта, ибо драка закодирована в мужском организме. Жить у Феклы стало невыносимо. Встретилась Ольга Дмитриевна, пригласила в заказник, сдала нам свою хибарку с большой русской печкой.

Перетаскали на себе вещи, я опять их стерегу одна, папа и мама уехали в Москву. В начале октября хлопьями выпал снег и заказник оделся в белый саван. Я еще никогда не жила зимой в деревне. Хожу за топливом в лес, подбираю в снегу и в листве намокшие сучья, обламываю сухие нижние ветки елок. Печке эта еда не по вкусу, дымит. Хожу за хлебом в Деденево и от нечего делать в лес. Деревь голы, трава пожухла, природа замерла, отмежевалась от безумия людей, мы с ней заодно. Крадусь по тропинке как зверь, и мне совсем не страшно, удивительно чуткое состояние, все сдвинуто внутри и вне. Подавленная потребность в кардинальной новизне вдруг прорвалась в сознание, преодолела страх и тоску: рутина рухнула, неизвестно, что будет завтра, — это настораживает и бодрит.

Снег растаял, подсохло; 13 октября совсем разъяснело, и я ушла за брусникой на Жуковскую сечу близ Ольгова. Собираю в корзинку круглые бело-розовые ягодки — вдруг самолеты! Низко, не наш гул, не наш вид, под крыльями свастики. Растянулась под кустом на земле вне себя от страха. Пролетели, вскочила, несусь сломя голову домой прямиком через лес и по извивам Волгуши. А там ждет мама, встревоженная, сердитая:

— Ты что, с ума сошла?! Гулять… Да немцы Клин уже взяли, идут сюда, на Дмитров. Немедленно в Москву! Давай собираться.

Укладываемся весь день. Я отнесла шубы к Варфоломеевым, спрятала ценные книги, лыжи и сковородки на чердак (успели съездить за ними два раза). В узел запихали, увязали белье. Утром, надев городские пальто и модные шляпы, навьючились как ослы, взяли в руки набитые сумки и портпледы, побрели на станцию.

Бег. На платформе масса народа, вс платформа завалена вещами. Тут и Сперанские, и Василенко, и Шпиллер — вся местна элита ринулась в Москву. Вагоны берем на абордаж, поезд ждет, когда все и всё впитается в него, и так на каждой остановке. Стою то на одной ноге, то на другой, для двух подошв места нет, невозможно пошевельнуться. На Долгопрудной застряли на полчаса — воздушная тревога. Ползем дальше. Через три часа дотянулись до Савеловского вокзала. На перроне стоит несметная толпа, в город выпускают по одному, смотрят паспорта (въезд посторонним запрещен). Смеркается, темнеет — а вдруг налет? Толпа под открытым небом, а вокзал — это объект. Наконец-то выбрались на площадь. Ухватившись за поручни, грозди людей висят на трамваях, куда нам… Согнувшись под грузом, плетемся по Новослободской. Бедна маленькая мамочка физически изнемогла, ее держат на плаву нервы. Еще немножко — и вот мы дома! Сбросили полтора пуда на пол. Разделись. Невыразимое облегчение! Тепло, светло. Нас ждет папа, приготовил ужин, закуски, пиво. Смыли пот горячей водой, легли в свои постели. Чистое белье. Сон.

Post scriptum

Стою на углу Садовой 16 октябр 1941 года. Вся широкая улица вплотную запружена машинами, в них, согнувшись в три погибели, сидят на грудах вещей беженцы — пригородные обыватели, городские евреи, коммунисты, женщины с детьми. Втиснулись в поток автомобилей какие-то воинские части; пешеходы катят тележки с привязанными к ним чемоданами, толкают тачки и детские коляски. Спрессованная масса течет по Садовому кольцу к трем вокзалам с утра до ночи непрерывно. А там — куда глаза глядят… под бомбежки, в чужие города, в чистое поле, на тот свет… Для нашей семьи бездомность страшнее всяких налетов — решили остаться в родной Москве. Где-то стреляют, где-то грабят склады и магазины, где-то жгут партийные документы — над асфальтом вихрятс обгорелые клочки бумаги, падает черный снег. Где-то минируют улицы, чтобы взорвать столицу. Враг у порога, взял Крюково, Ховрино… Москва безвластна, пуста, открыта — но немцы в нее не вошли. Почему?

Передний край культуры

(Воспоминания о ВОКСе, 1935-1938)(Воспоминания о ВОКСе, 1935-1938)

1. Особняк

Я пребывала в безработице. Родители были недовольны, своих денег не было, и все же не хотелось поступать в какую-нибудь контору — слишком избалована была интересными людьми. После стычки с мамой на даче помчалась в Москву и сгоряча нанялась в Торговую палату (вывеска прельстила — Chamber of commerce). Предложила три языка, а поставили сторожихой на выставку чешского белья — утром и вечером пересчитывать все тряпки, до тысячи мелких предметов, а днем следить, чтобы их не украли. Конец августа, жарко; маюсь от

скуки, дома одна в квартире, валяюсь на диване. Через две недели сбежала в Шуколово. Опять ничего нет.

После вечеринки у Елены Терновской я осталась у нее ночевать и, лежа в постели, излила душу. Елена, старый член партии со связями, была отзывчивым товарищем и помогла не на словах, а на деле: утром дала записку к Н. Кулябко, заместителю председателя Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС). Забежав домой переодеться, пошла искать счастья на Б. Грузинскую, 17.

За небольшим густым сквером — благородный особняк с тяжелой дубовой дверью. Швейцар и почтительный старый гардеробщик. На широкой лестнице алый ковер и зеркало во всю стену. Анфилада парадных комнат, приемная отделана темно-коричневым деревом — псевдоготическая арка, панели, монументальный резной шкаф. За длинными окнами с цельными зеркальными стеклами — желтеющий сад. Направо кабинет с массивным столом и креслами. Стараясь не робеть от всего этого, я здороваюсь и протягиваю Кулябко записку Елены. Он предлагает сесть в кресло (в нем поместились бы две меня), читает ее, расспрашивает, где и как я работала раньше. По-видимому, моя трудовая биография его удовлетворила; он позвонил по внутреннему телефону, и скоро в кабинет вошла красивая, ярко накрашенная женщина. «Ну, вот...» — подумала я с некоторым разочарованием, но напрасно: она бегло поговорила со мной на трех языках, умно и просто разузнала все о моих интересах и планах; ее горячие золотистые глаза внимательно всматривались в мою физиономию, что-то в ней изучая. В итоге мы понравились друг другу, потом даже подружились — это была Вега Линде, но о ней потом, отдельно. Проверив меня таким образом, Кулябко выдал мне коварную анкету, но теперь у меня был заслуживающий доверия стаж (МЛШ1). Через три дня мне позвонили и предложили завтра явиться на работу.

Пришлось перевернуть кверху дном свои привычки, превратиться в европейца из дикаря. Окунувшись в непредвиденно богатую новизну, я стала обдумывать и осваивать ее, этот барский стиль Особняка и незнакомый доселе комфорт. Я вступила в «престижный» круг; устно мен предупредили: переводчики ВОКСа — не гиды Интуриста, бытовые услуги не входят в их обязанности, держаться надо с достоинством, одеваться прилично; с иностранцами не знакомиться, не встречаться на стороне и не принимать никаких подарков, кроме книг, которые следует показывать цензору, перед тем как взять домой. Несмотря на все это, я была довольна жизнью, легко, даже весело стало на душе.

Т о п о г р а ф и я: налево от передней — Белый зал с претензиями на стиль рококо, за ним почти недоступный кабинет шефа. Направо «господская» дубовая лестница на второй этаж, он меньше первого, всего пять комнат. За приемной сразу просто: узкий коридорчик, по бокам небольшие двери в отделы и каменная лестница наверх, для всех; кончается он крутой лесенкой вниз, в столовую и в кухню; экспедитор и склад в подвале.

С т р у к т у р а: в миниатюре как в Наркоминделе — Первый, Второй и Третий западный отдел: Англоамериканский и Восточный; отделы Приема, Книгообмена, Выставок и Печати. В каждом заведующий и два-три референта. Секретари, курьеры по городу и по зданию. Всего тогда в ВОКСе было до 80 служащих с техническим персоналом. В 1935 году его возглавлял Н. Аросев — старый большевик, участник Октябрьской революции в Москве, военный и писатель. Два заместителя, Н. Кулябко и Л. Чернявский — высокий, плотный человек с черной бородкой, обычно в сером костюме, «слон»; из-за крутого нрава, резкостей и вспышек его немного боялись. В правом дальнем углу приемной за столиком у окна сидела ее заведующая — Ирина Павловна Теплякова, дворянка из рода Du Perron d’Anquetil, эмигрантов времен Французской революции — настоящая светская дама, но спортивного типа — в безупречном английском костюме и строгой блузке, воспитанная «по-прежнему», всегда подтянутая, знающа три языка и толк в обращении с иностранцами. Реализуя их программы, она договаривается со всеми обо всем по телефону. Непосредственно ей подчиняемся мы, три переводчицы — Ольга Гиляревская, 35 лет (немецкий язык), Бэлла Фурман, 28 (французский), и я, 24 (английский). Теплякова обращается с нами чуть-чуть покровительственно и очень дружелюбно — подшучивает, разыгрывает, «пугает». У нее мы с утра получаем заявки на работу от… до, закончив которую просим клиента подписать час. Оплата была почасовая, кажется полтора рубля; иногда мы отсутствовали час, иногда пять, но все равно надо было вернуться в отдел и сдать заявку вместе с так называемой «беседой» — кратким отчетом, как прошла встреча или показ объекта, не случилось ли чего-нибудь нежелательного. Весь аппарат ВОКСа контролировала Секретная часть — на втором этаже вечно закрыта дверь без дощечки; заведовала ею бледная, молчаливая эстонка Куресаар. Все служащие вели общественную работу. Я охотно взялась оформлять стенгазету «Vox» и выдавала редколлегии один номер эффектнее другого.

А т м о с ф е р а: в Особняке всегда степенная и спокойная, даже говорили тихо. Никакой бестолочи и суматохи. В ВОКСе было очень тепло и по-семейному уютно. Казенный элемент был так ловко запрятан, что не бросался в глаза не только иностранцам, не проникавшим дальше приемной, но и сотрудникам, которых не слишком тревожили агитпропом.

2. Тени проходящие

Неудивительно, что кое-кто на Западе скептически относился к нашим достижениям. Вероятно, высокие инстанции, выделявшие разные стройки и предприятия как показуемые иностранцам объекты, сами не бывали на них, доверяя победным реляциям на бумаге, а все эти средние серые директора-выдвиженцы, сразу попавшие из грязи да в князи, не представляли себе, какое впечатление может произвести грязь на цивилизованных людей. Необузданное, доходящее до апоге самохвальство плюс ограниченность кругозора (не зная другой жизни, они верили, что нет ничего лучше нашей) приводили иногда к непредвиденным и курьезным результатам.

Однажды меня прикрепили к группе важных американских экономистов-бизнесменов. Их возглавлял Оуэн Латимор, президент крупного тихоокеанского объединения или института, точно не помню, кажется, член Конгресса США, издатель журнала «Trans-Pasific» и т. д. Они, пять человек, интересовались успехами нашего сельского хозяйства. Это было в 1935 году, коллективизация уже закончилась, газеты сообщали всему миру об освоении техники, о героях-трактористах, о доблестных доярках, о росте производительности труда и благосостояния деревни. ВОКС включил в программу этой группы деловые встречи в Госплане и Наркомземе, а также посещение передового колхоза и птицефермы. Меня предупредили: обслужить как можно лучше, переводить особенно точно и следить за окружением — одним словом, не ударить лицом в грязь. Поехали на двух шикарных машинах из Москвы в ближайший колхоз Мазилово (эту деревню теперь без остатка сожрал город). И тогда она выглядела не так мило, как дальние лесные деревушки, — по одной стороне шоссе тянется длинный ряд не то изб, не то низких коричневых домов, перед ними скудные палисадники, вокруг плоское голое поле. Середина марта — хуже нет поры в Подмосковье, ни белого снега, ни зеленой травки. От шоссе до крыльца сельсовета, обыкновенной большой избы с вылинявшим розовым флагом у конька крыши, проложены доски — иначе не пройдешь. Сельсовет затоптан сапогами и прокурен досиня, кумач на столе весь в чернильных пятнах, на стенах портреты Ленина и Сталина, крикливые, но выцветшие плакаты, столбовые и круговые диаграммы, стенгазета на трех кнопках и часы-ходики. Председатель и парторг втащили старые венские стуль и пару табуреток, усадили нас и начали хвастаться успехами. Градом посыпались цифры. Сколько гектаров! Сколько тракторов! Рост поголовья скота, надои в день, в месяц, в год... Американцы слушали и записывали всё массивными золотыми авторучками в белоснежные блокноты. Насытив их информацией, председатель повел осматривать хозяйство. Из сельсоветской избы прямо на задворки по дощечкам, плясавшим под нами в желтой жиже. Первым шагал он, в высоких заляпанных сапожищах, за ним я в ботиках «прощай молодость», за мной Латимор — в щегольских желтых башмаках, в мягких дымчатых брюках, придерживая полы пальто рукой в тонкой кожаной перчатке, — а за ним остальные четыре господина. «Мазилово... мазь... мразь... грязь...» — вертелось у меня в голове. Бугры серовато-рыжего талого снега, размякший в лужах навоз, гнилая солома. Прохлюпали так метров сто и остановились. На парники даже мне смотреть страшно (а председатель не замечает?) — рамы почернели, половина стекол перебита, торф размок и оброс плесенью; валяются лопаты и носилки с захватанными ручками. Рабоче-крестьянской силы нигде не видно, мы одни. «Рановато прибыли, не совсем еще готовы к посадке, но...» — как бы извиняясь, говорит председателя. Американцы долго всматриваются в этот идиллический пейзаж. Их приглашают идти дальше, в коровник, но м-р Латимор отклоняет это предложение, ссылаясь на дела в Москве. Так же балансируя на скользких досках, пошли обратно. Лезть в машину на малиновый коврик с такими ногами было ужасно неприятно, но ни тряпки, ни клочка прошлогодней травы не нашлось — подстелили газету.

Однако продолжение следует. Через день поехали на птицеферму по Ярославскому шоссе и куда-то вбок по узкому проселку через старый еловый лес. В колеях, наполненных водой, машины забуксовали, плюясь брызгами на сугробы. Шоферы взмокли, таская под них ветки и пихая их сзади и спереди вместе с увесистыми буржуями, которым выйти было некуда, — кругом вода и мокрый снег. Через час кто-то пошел куда-то за помощью. Еще через час подъехал грузовик с цепью и вытянул нас из ямы, образовавшейся под колесами. Птицеферма, жалкая и вонючая, с тощими белыми курами в клетках, не стоила таких усилий. Латимор и Ко на этот раз рассердились и не скрывали своего раздражения и презрения. Я не знала, куда деваться от стыда, что сказать, — они игнорировали меня как часть этого целого.

В 1936 году в Москву приехал на десять дней Лайонел Моррис, корреспондент «Illustrated London News». Меня предоставили ему на все это время. Деловой человек, опытный журналист и фотограф, объехавший весь мир, лет сорока пяти, высокий и гибкий, с резкими чертами лица: большие, как у совы, топазовые глаза под густыми бровями, черные волосы, откинутые ото лба, нос с горбинкой, подрезанные усы над тонкими губами. Проницательный, остронасмешливый англичанин, племянник известного социалиста-утописта художника Уильяма Морриса, вводившего эстетику в английский быт конца прошлого века. Это меня сразу сблизило с этим новым человеком, как со старым знакомым, так как я увлекалась искусством той эпохи. Он остановился в «Национале», куда я каждый день являлась на работу. Мы скоро нашли общий язык, наше чувство юмора возбуждали довольно занятные впечатления.

Одним из последних достижений тех лет, которым гордились газеты и фотожурнал «СССР на стройке», была первая социалистическая фабрика-кухня на Ленинградском шоссе. Этот замечательный объект был взят на учет в ВОКСе и включен в программу Морриса. Из «Националя» доехали на троллейбусе No 1 до Белорусского вокзала, прошли с полкилометра по левой стороне. Фабрика-кухня — стеклобетонный параллелепипед в три этажа без всяких архитектурных излишеств. Внизу нас встретил предупрежденный по телефону директор, такой же бесцветный пролетарий лет пятидесяти в неуклюжем сером пиджаке. Он уже не раз показывал свое предприятие и бодро повел нас вниз. В полуподвале холодильники и склады. Темный коридор с асфальтовым полом, сыро. Пахнет мясом, но так себе… По бокам в отсеках висят вниз головой мертвые тела животных — быков, баранов, свиней — костлявые и синеватые, с сизым отливом, кожа натянута на ребрах. Англичанин присматривается к ним зорко, директор идет, размахивая руками, говорит о доставке, хранении и разделке туш. Изучив сырье, поднимаемся на второй этаж, где современные мясорубки кромсают мясо на фарш, конвейер превращает его в котлеты и передает в кухню, где жарят. На столах работницы кромсают картошку и капусту на гарнир. Везде чисто и светло. Выслушав социально-экономический комментарий директора, поднимаемся по лестнице на третий этаж. Длинная-длинная столовая, прямые ряды квадратных столов на четыре персоны каждый, покрытых клеенкой. Чисто и светло, так как вся права стена — стекло. Закончив

научную часть экскурсии, директор широким жестом приглашает за стол, откушать образцовый общедоступный обед. Буфетчица немедленно подала по его знаку три супа и три порции котлет с жареной картошкой. Я проголодалась и принялась их аппетитно уплетать, но Моррис отодвинул свою полную тарелку — благодарю, я сыт. Директор удивленно: «Кушайте, кушайте, не стесняйтесь! Платить не надо, я угощаю!» Моррис отказывается, хозяин спрашивает: почему? Хитро подмигнув своими совиными глазами, гость произносит нарочито серьезно: «Скажите ему, что я вегетарианец». (Как же так, вчера на приеме он ел бифштекс…) Поблагодарили, похвалили и ушли. На остановке в ожидании троллейбуса я сказала: «Неужели вы правда вегетарианец?» Он весело рассмеялся: «Да что вы! Просто я видел это мясо там, внизу!»

Вручая мне заявку на следующий день, Теплякова загадочно улыбнулась: «Ну, берегитесь, Нелли!» Читаю назначение: «Профилакторий для проституток. Сухаревская пл., дом No … К 11 ч. утра». Еду в «Националь». «Куда мы сегодня?» — спрашивает Моррис, надевая элегантное пальто и фетровую шляпу. «Вот увидите куда». Дешевый трехэтажный дом на углу 4-й Мещанской, построенный в середине XIX века, похож скорее на публичный дом, чем на его антипод. Встретил точно такой же стандартный директор, но начал не с осмотра, а с беседы, привел в кабинет, описал «Яму», ужасы узаконенного разврата при царе. Показал три толстых альбома фотографий девиц, обслуживавших купцов на Нижегородской ярмарке в 90-х годах прошлого века. Очень интересный типаж, годный для костюмерной Малого театра. Какие толстые тела! Корсеты, буфы, турнюры! Старомодные прически с кудряшками на лбу, на редкость глупые и смешные лица. И совсем не тот макияж, сладкие глазки, губки бантиком, ни одной красивой женщины с современной точки зрения. Моррис углубился в альбомы с большим любопытством. Он был в Каире, в Бомбее, в Сингапуре, Гонконге, Шанхае — каких только баб он там не видел, но таких, наверное, никогда. По лицу его бродила лукавая, но совсем не пошла улыбка. А директор все излагал статистику и закончил тем, что в этом профилактории доживают последние дни последние проститутки: «Скоро их выпишут работать на фабрики и поселят в общежитиях. В городе выловлены все. Советский Союз — самая нравственная страна в мире». Потом пошли смотреть женщин, опять снизу вверх три этажа. На первом производство: стоя у вязальных машин, женщины делали вискозные шарфы и береты. Бросали на Морриса жадные оценивающие взгляды, — проходя мимо, он усмехнулся. Без грима, скучно и гладко причесанные, в казенных платьях, они были совсем неинтересны. На втором этаже лечение от венерических болезней и учение — ликбез, политпросвет. На третьем спальни, розовые кроватки, тумбочки с кружевцами, тюлевые занавески. Хорошо. Институтки, а не проститутки. Когда вышли на улицу, Моррис спросил: «А не врет он, неужели ни одной?» Мне было смешно, я увернулась от ответа: «I am a lady, I don’t know»1. На другой день мы должны были ехать в образцовую школу; я пришла за ним к 10 часам утра. Стучусь в номер, нет ответа, потом вдруг сонный бабий голос: «Он в столовой…» Так… Моррис сидит за завтраком, держась за голову, вид у него прескверный.

— Что с вами? Вы нездоровы?

— О, нет. Проверял ночью этого… шефа.

— Ну?!

— Ну разумеется, нашел. На Казанском вокзале. Выбор большой, но плохой. Выпили, голова трещит ужасно.

В один из вечеров Лайонел Моррис был приглашен в Камерный театр на «Египетские ночи». Мы сидели вдвоем в боковой ложе слева. Об этом спектакле тогда много писали, спорили. Англичанин отнесся к нему критически, особенно к части из Бернарда Шоу, и я с ним согласилась. После спектакля вошел Таиров и пригласил нас в аванложу на изысканный ужин с вином и деликатесами, за которым последовали фрукты, чай, пирожные, шоколад. Присутствовали Алиса Коонен, только что сыгравшая Клеопатру, два-три ведущих актера и администрация театра. Таиров был заинтересован в этой встрече с английским корреспондентом, организованной им помимо ВОКСа, на ней не было партийно-профсоюзного актива. Выслушав похвалы Морриса по поводу пьесы и процветания московского театрального искусства, Таиров исподволь перешел к делу: ему очень хотелось устроить гастроли в Лондоне, но что-то препятствовало извне, изнутри. Он попросил Морриса обратиться к известному антрепренеру Кочрэну — не окажет ли тот ему содействие: нужно было получить приглашение оттуда. На это Моррис резонно заметил, что гастроли, наверное, будут иметь успех, но все дело в деньгах — аренде помещения, оплате персонала и т. д. Что касается выезда, театр должен сам добиться его здесь, в Москве. В Лондоне возражать вряд ли будут; впрочем, он довольно сдержанно обещал Таирову поговорить с кем надо. Обстоятельства были мне неизвестны, я старалась точно переводить и, кстати, запомнить эти переговоры — все-таки история театра. Но должна ли я их изложить в «беседе» для ВОКСа? Не подведу ли этим Таирова, а умолчав — себя, если среди присутствующих есть агент? Когда мы вышли из театра, Моррис предложил мне поехать в ресторан, поговорить о спектакле и об этом ужине (а может быть, выведать ситуацию: «Я не понимаю, почему он не хочет сам позвонить Кочрэну или написать письмо?»). Ничего-то он не понимал в наших делах. Я отказалась наотрез, соблюдая инструкцию. Он опять не понял почему. «Я не имею в виду ничего дурного, отчего бы нам не продлить хорошее настроение в хорошей обстановке?» Я не имела права сказать, что переводчикам это запрещено. Проклиная в душе свои цепи (очень хотелось провести с ним этот вечер), я промычала, что поздно, дома ждет мама.

— Но ведь можно позвонить по телефону! Неужели вы думаете, что скомпрометирую вас? (то есть он думал «как мужчина», я думала «как классовый враг»).

— Нет, нет, нисколько. Но я пойду домой.

— Тогда разрешите взять такси?

— О, не стоит, это совсем близко. Спасибо. Я привыкла ходить одна по ночам. У нас не страшно. До завтра…

Отделавшись от него, я почувствовала горечь и досаду — постоянно приходится испытывать муки Тантала. Я сообщила в «беседе», что Таиров угостил нас чаем, чтобы поговорить о пьесе, и умолчала об остальном, будь что будет. Камерный театр так и не поехал в Лондон, вскоре его закрыли, а Таиров отправился вслед за Мейерхольдом. <…>

Но многие иностранцы увезли с собой хорошие впечатления от строительства социализма. Из них одни оставались себе на уме, другие хотели по-настоящему понять эту энергию новой жизни, этот общий подъем и оптимизм. Уезжая, эти непритворно хвалили нашу страну.

Арни Джиллет с женой были такими простыми, искренними гостями. Он, режиссер из города Айова-сити в штате Айова (США), приехал в Москву сориентироваться в наших театральных направлениях, которых в 30-е годы было много. Если бы не эти скромные приветливые люди, я не посмотрела бы сразу столько хороших постановок, совсем разных и ярких, в том сезоне. Это был настоящий фестиваль! Малый, Художественный, Революции, Камерный, Мейерхольда, Сатира, Кукольный, Детский… каждый вечер мы шли втроем, предвкушая новое зрелище, и выходили, обсуждая его, обычно не споря, так как у нас были одинаковые взгляды и вкусы. Арни и миссис Джиллет остались в памяти как товарищи, даже друзья, а не пришельцы из чужого мира.

Китаец Ли, спортсмен-профессионал, ехал через Москву в Берлин на V Олимпиаду в качестве зрителя, потому что ему было уже 56 лет. Коренастый, низенький, с простоватым лицом, житель какой-то провинции. С ним я в первый раз была на стадионе, смотрела регби. В парке культуры и отдыха Ли уговорил меня прокатиться на большом колесе. В Малаховке мы провели весь день в детдоме с учителем физкультуры. После обеда у ребят был мертвый час, тут Ли предложил покататься на лодке по пруду. Он греб и рассказывал о себе: «Я давно женат и очень счастлив; слава богу, здоров, и у меня шестнадцать детей». — «Не может быть! Разве это счастье?» Он возмутился: «А неужели нет? У соседа восемнадцать детей, и больше половины сыновья». Именно тогда, на пруду, я представила себе, что там будет дальше. В одном сборнике статей прочитала, что китайцы, идя шеренгой по пять человек в ряду, никогда не кончат опоясывать земной шар.

Аскайя Кумар Шаха — первозданное, не тронутое цивилизацией существо, абориген маленького горного племени в юго-восточной Индии. Каким-то чудом он познакомился там с русской девушкой Татьяной, дочерью одного из наших представителей, влюбилс и женился на ней. Затем она увезла его из бамбуковой хижины, от родительского костра в Москву, на побывку к своей родне. Он задумал учиться в техникуме и пришел посоветоваться в ВОКС, маленького роста очень темнокожий молодой человек. Шаха стесняется, он плохо говорит по-английски, знает несколько русских слов. Он никогда не видел снега — приехав осенью, вышел утром на балкон помолиться

Сурии — восходящему Солнцу — и увидел: все белое! Наступил босой ногой и отдернул ее — незнакомое, неприятное ощущение острого холода. Мне разрешили пойти к ним в гости, они жили в комнате на Спасской-Садовой. Угощали индийской снедью и чаем, показывали фотографии: действительно, отец и мать Шаха примитивные голые люди, сидят у костра. Татьяна увлекается освободительным движением, она даже написала рассказ «Кровь ференги» о борьбе за независимость. Она уже соскучилась по Индии, а северный климат и большой город не понравились Аскайе Кумару. Итак, они вернулись в джунгли.

Интермедия. Снег идет, первый снег, теплый и мягкий, хлопьями идет и пригибает ветки с остатками листьев. Дальше всё — белизна. Машина мчится в Фили. Рядом — японец (доктор медицины), подлинный японец, не такой, как Ёси, — он любит свою страну, ее историю, ее искусство. С ним можно поговорить о танка и хокку, а Еси их презирает. Снег, летучее нежное кружево, трепещет вокруг машины. Белым контуром очерчены формы деревьев на первом плане, а дальше, за сеткой, все неясно.

— Это похоже на японский пейзаж?

— Да, да. Очень. Как странно — здесь…

— Я люблю Хиросигэ. А вы?

— Я? Да, да. Кажется, больше всех. Он бы нарисовал этот снег…

Какое острое чувство! Какие минуты… Вчера — у Еси, а сегодня с этим утонченным доктором едем смотреть больницу, но говорим о другом, о том, что Еси отверг ради коммунизма в Японии. Зачем? Одно другому не мешает, но ведь он — фанатик. С ним я ссорюсь уже три года, а с этим другим японцем встретилась полчаса тому назад, и так, сразу, мы поняли все это — снег, белизну, Хиросигэ, стихи… Хорошо!

3. Наваждение

Утром не пришел на работу референт Восточного отдела Шпиндлер. Никто не удивился, он часто болел. На другой день опять не пришел — поудивлялись немножко. И совсем не пришел, пропал — замолчали. Это было в январе 1937 года, и служащие предпочитали не обсуждать сей вопрос. Я стояла в приемной, собираясь ехать с кем-то куда-то, но меня вдруг вызвала к себе Анастасия Орлова-Беленец, заведующая Восточным отделом (о ней ниже), и предложила мне… сесть на место Шпиндлера, стать референтом по Индии, Японии и Китаю! Я совсем растерялась, он был так важен, так степенен, так стар… а я, в 25 лет?!

— Ничего, справишься, — спокойно сказала Беленец, — или не хочешь? Подумай.

— Нет, хочу, очень хочу! Люблю именно это, но, но…

— А ты без «но», иди в отдел кадров и оформляйся, вот и все. Завтра будешь принимать дела, я помогу. Ну?

Ну конечно, я согласилась, и с каким восторгом в душе! Владеть теми странами, которыми так давно увлекаюсь. Не бегать в переводчицах, числиться в штате — и кем: референтом Восточного отдела... Показалось, что я делаю головокружительную карьеру. Жизнь открывала мне свои объятия.

Я водворилась в маленькую комнату с двумя грандиозными столами, вплотную придвинутыми друг к другу. Напротив сидела Лидия Розина, референт по Турции, Ирану и арабам. Я осмотрела все ящики «моего» стола, вычистила их и произвела реформу: оказалось, что Шпиндлер был медлителен и ленив, запустил дела. Привела их в порядок; переместила книги и груду заманчивых журналов в шкафу; выписала новые писчебумажные принадлежности и расставила их по-своему. Наконец, вынула широкое сиденье его кресла и сняла необыкновенно красивый кусок индийской ткани, который он использовал так грубо, отстирала ее дома и стала носить летом в виде чалмы.

Покончив с хозяйством, занялась делами. В мои обязанности теперь входило вести переписку с деятелями трех стран; посылать им новые советские книги и журналы; получать от них то же и сдавать в библиотеку ВОКСа; читать газеты своих стран и писать сводки; выходить к отдельным иностранцам, иногда ездить с ними на важные беседы и объекты; присутствовать на приемах и вечерах; включиться в соцсоревнование — последнее сделала с выгодой для себя, взяла соцобязательство доучить японский язык, историю и литературу всех трех стран. Сидя за столом, я углублялась в «Bombay Chronicle» и прочие газеты на английском языке, открывая целый мир политической борьбы, философии, народной жизни Индии, Японии и Китая. К стыду моему, должна признаться, что совсем не задумывалась о судьбе несчастного Шпиндлера… Молодость, успех, равнодушие — тогда еще мы, обыватели, не знали, что следует за арестом, не представляли себе всех ужасов лагерной полужизни. Человек исчезал, сослуживцы многозначительно молчали и скоро забывали: сытый голодного не понимает.

Мое новое начальство, Орлова-Беленец, казалась холодной и отчужденной, и ее стеснялась. Несмотря на партбилет, она вела себя как великосветская дама, не допуская панибратства, даже чуть-чуть свысока. У нее была такая же внешность — большие серо-голубые глаза, модно причесанные русые волосы и белая-белая, словно алебастровая, кожа. Один раз, на торжественном вечере, она была в длинном, до пят черном бархатном платье с острым вырезом, на плечи накинута черно-бурая лиса, на шее тонкая нитка жемчуга. Случайно после вечера мы оделись вместе и пошли пешком по Грузинской до Тверской. Ей очень хотелось поговорить по душам, она была почему-то совсем откровенна со мной, и вот что я узнала: она родилась в глухой деревне, в семье неграмотного бедняка; босая девчонка Настя, голодная, в изношенном платьишке, часто сидела на ступеньках крыльца и тосковала. И вдруг Революция. Поехала с мешочниками за

хлебом. К ней приставали мужики, но заступился комсомолец, ее будущий муж. После гражданской войны его назначили в Китай. Там она лихорадочно училась всему сразу — грамоте, русскому языку и английскому, школьным предметам, политдисциплинам, разговорам в обществе, манерам, модам — и совершенно преобразилась. Вступила в партию, занялась ответственной работой, и вот она здесь, в ВОКСе. В ее тоне было что-то непонятное — задушевное, народное, простое… Я была поражена: зачем она рассказывает все это? То ли узнать, как выглядит со стороны, все ли в порядке «в свете», то ли поделиться чувствами или предчувствием? Но почему именно со мной? Мы совсем не были близки, это так неожиданно — идет рядом белая леди в котиковом манто, мое начальство, и говорит о себе такие вещи… и я, как умела, выразила сочувствие, выслушав ее очень внимательно, с удивлением: несмотр на свою общительную профессию, я еще не знала людей.

Раза два в месяц референты дежурили по очереди в приемной после работы: подходили к телефону, принимали почту, записывали дела. Так я сидела одна за столом Тепляковой и читала «Vanity Fair»1. Солнце уже низко, на темно-зеленых деревьях в саду оранжевые блики, за ними вдали ослепительно блестит окно. В приемной тихо, и во всем учреждении тихо, но в Белом зале идет важное партсобрание, парадные двери плотно закрыты. В этой напряженной тишине пронзительно зазвонил телефон, спросили Аросева. «Он занят». — «Нет, надо». — «Тогда попытаюсь вызвать, подождите». Я не смею входить в Белый зал, чуть приоткрыв дверь, прошу ближайшего передать вызов и возвращаюсь за стол. Входит Аросев, говорит по телефону и замолкает; поднимаю глаза: он стоит и глядит невидящим взором в окно; трубка лежит на столе. Забыть нельзя! Это лицо, хорошее открытое мужское лицо, — на нем застыла тоска, тревога, боль. Он стоит неподвижно, долго — может быть, пять минут, смотрит на сад и на закат. Меня как будто не существует рядом, и я не шевелюсь, наблюдая. Вдруг он повернулся и широким шагом ушел в зал. Я положила трубку на место. Солнце зашло, приемная потемнела, и все здание тоже. Там, в зале, они «прорабатывали» его. Через два дня он был арестован, а потом расстрелян.

В наш спокойный серьезный ВОКС вселилось тайное смятение — один за другим стали пропадать сотрудники, больше половины, и появляться новые, другого уровня и типа. Начальство менялось, как стекляшки в калейдоскопе, это было какое-то наваждение. Председателем был сверху назначен Семен Иванович Часовенный, толстый крепкий человек пролетарского происхождения; у него было круглое красное лицо, хитро и чувственно поблескивавшие голубые глаза. В общем, не страшный и не злой, но своенравный и недостаточно образованный дл такого поста. Языков не знал. Он проработал почти год, потом его сменил более подходящий Смирнов, длинный, худой, холодный, по прозвищу Уж. Он был строг и надменен, служащие при нем робели. Одним из первых пропал Кулябко, впоследствии и Чернявский, арестованы оба. В моем дорогом Восточном отделе за 1938 год сменилось четыре заведующих: пропала, погибла Орлова-Беленец — трудно представить, что она пережила, когда жизнь ее согнулась

трагической дугой. После того разговора привязалась к ней, трудно выразить, как я жалела ее... Появился новый зав. отделом Кельцев, очень приятный, мягкий человек, но мы не успели как следует познакомиться с ним, его скоро сняли (деликатная метафора — вероятно, тоже арестовали). Вместо него пришел Нурулла Муратов, знатный узбек, очень крупный, с арабскими чертами лица. Это был вполне интеллигентный руководитель, он сам интересовался делами, вел себя с нами как товарищ, просто. Работать с ним было замечательно, ко мне Муратов относился хорошо, я, кажется, понравилась ему, несмотря на свой вид: заходя в отдел, он часто заставал меня в спешке над стенгазетой, всклокоченную, с руками, вымазанными клеем и краской. Бывало, даже переодеться на вечер некогда. К великому сожалению, его тоже сняли (говорят, тоже погиб). Вместо него нами завладел некий Давтян, тупой и некультурный. Между нами возникла антипатия, и, свернувшись в шар, как мокрица, я ушла в себя, погрузилась в сплошное притворство. Стало совсем скучно. ВОКС перестал быть тем, чем он был: его наводнило недоверие, обезличил пришлый элемент. Залетных вольных птиц обслуживали как прежде, но в нас вдували вражду к ним, инструкцию ужесточили. И никто ни слова ни о чем происходящем не говорил.

Однажды позвонил мне домой незнакомый Иван Иванович и приторно вежливым тоном повелел явиться по такому-то адресу в таком-то часу. Сердце екнуло — может быть, не вернусь? Но это было не то. В одном переулке близ Арбата, в обыкновенном доме, в чужой квартире меня встретил субъект в штатском, неописуемо бездушный агент НКВД. Начал расспрашивать об иностранцах, — что говорят о нас, какие задают вопросы. Так как им ничто не угрожало, нечего было и скрывать, впрочем, мне плохих вопросов они не задавали. В квартире была какая-то женщина, поставила чайник, он предложил чай, но мне было тошно от рабского подчинения и от страха, я отказалась, он отпустил. Вызывал еще раза три, я потеряла покой. И поделиться ни с кем нельзя — категорически запрещено сообщать об этих явках. После «Ивана Ивановича» вызвал другой агент в другое место. Становилось все страшнее. Он был уже в форме и стал подбираться к сотрудникам ВОКСа. Чувствуя себя на лезвии ножа, изворачивалась и врала, хотя и вправду сказать было нечего — о политике все молчали как убитые, никто никому не доверял. Надо мной сгустилась туча вины — последствие моей «принципиальной беспринципности», детского легкомыслия и жажды острых впечатлений. Сама полезла в петлю, теперь она начала стягиваться на шее. Дошло до того, что один раз, поднимаясь по лестнице шестиэтажного дома в районе Таганки, я лицом к лицу столкнулась с одной служащей ВОКСа, идущей вниз. Мы обе совсем растерялись. Она фальшиво улыбнулась и сладким голоском сказала: «Ах, я была тут у портнихи, вот совпадение!» Разозлившись, ответила: «И я тоже к ней!» Значит, и она тоже к нему, и, наверное, все? Проклятый агент, не потрудился даже избавить нас от подобных встреч... На этот раз он стал подбираться к моим личным знакомым... SOS!! Удалось вывернуться, но все было отравлено, я вышла под властью сатанинской инвольтации, словно в кошмаре, — темные чужие улицы, темный Краснохолмский мост, внизу черным-черна Москва-река — перескочить через перила, и все. Но любовь к жизни была сильнее,

победила здорова натура: ни до, ни после не было такой мысли. Вернулась домой, а там гости, мамины именины, Татьянин день. Тетушки и бабушки болтают о пустяках, ковыряют ложечками торт, смеются. Не знают изнанки жизни. Насколько же я старше всех! Если бы они знали, где я была… что пережила… Мне совсем не хотелось сидеть с ними за чаем, извинилась и ушла к себе. Всю ночь думала, как избавиться от бесов, где найти запасный выход — и нашла. На другой день, как только пришла на службу, подала заявление об уходе из ВОКСа «по собственному желанию». На последнем приеме все уговаривали меня остаться, не понимая, в чем дело, а я в ответ, шутя: «Хочу все лето прогулять на даче». Решено бесповоротно. Получив увольнение, я снова очутилась на улице ни с чем.

Окончание следует

Публикация и подготовка текста М. А. ДАВЫДОВА и Е. Д. ШУБИНОЙ

Человек из небытия

(Воспоминания о С. Д. Кржижановском)

В один прекрасный день в июле 1937 года к нам на дачу в деревню Шуколово пришли гости, три человека, почти одинаково одетые в синие костюмы и открытые белые рубашки. Это были писатель Сигизмунд Доминикович Кржижановский, композитор Сергей Никифорович Василенко и режиссер Валерий Михайлович Бебутов. Они пришли по делу к моему отцу, художнику-декоратору Евгению Соколову, обсудить вместе постановку пьесы Кржижановского «Поп и поручик». День был яркий и жаркий, обедали на веранде, увитой хмелем; еды всякой было тогда много. За столом гости, папа, мама и я много смеялись — пьеса показалась очень занятной и остроумной. Кржижановского видела впервые и сразу обратила внимание на его индивидуальность и привлекательный облик: высокий человек с хорошей осанкой, при этом мягко-пластичный; интеллигентное польское лицо с крупными, нерезкими чертами; умные, проницательные глаза и очень приятный голос, баритон, отличавшийся особенным тембром и интонациями. Таким представился он мне через обеденный стол в полутени качающихся листьев хмеля, мне, тогда диковатой, темно загорелой девушке с ромашкой за ухом, босой, легко одетой в экзотический сарафан. После обеда мы еще долго сидели за чаем со свежей малиной, беседуя о здешней красивой природе. Вечером пошли провожать гостей вниз. По дороге я в первый раз непосредственно обратилась к С. Д.: «Вам нравится эта местность?» — «Она не может не нравиться», — ответил он.

Дома я сказала своим, что этот автор выглядит очень своеобразно, совсем не так, как другие знакомые; стала расспрашивать о нем отца, но тот, только что познакомившись с ним, ничего не знал.

7 августа 1942 года отец попросил меня отнести на выставку во Всероссийское театральное общество два макета и несколько эскизов. Выставку работ московских декораторов (тогда еще не додумались до слова «сценография») устраивал Николай Александрович Попов, активный деятель ВТО, папин старый друг. Установив макеты в Большом зале на пятом этаже, я собралась домой, но Любовь Давыдовна Вендровская, сотрудник музея Театра им. Евг. Вахтангова, с которой я встречалась на журфиксах у Поповых, уговорила мен остаться на вечер английской драматургии, главным образом потому, что доклад о творчестве Бернарда Шоу будет читать Кржижановский, докладчик, по ее словам, замечательно интересный. Я поднялась на шестой этаж в Малый зал и села справа у окна. Сначала рассматривала и зарисовывала необычный вид на крыши Елисеевского магазина и соседних домов — красноватую симфонию треугольников и пирамидок. Никаких ассоциаций фамилия докладчика не вызвала через пять лет, но, увидев его, я сразу вспомнила и его, и тот день в деревне. Доклад был действительно интересен, построен смело и гибко, полон вывертов в стиле самого Б. Шоу и очень странных метафор. Я была увлечена. Общее впечатление от него и от личности С. Д. осталось очень сильное. Идя по Тверской, я думала только о нем.

Кое-как кое-кого расспросив в ВТО, я окольными путями узнала, что С. Д. совсем недоступен для посторонних. Однако я решила познакомиться с ним — хоть бы лишь здороваться на вечерах в ВТО — и стала обдумывать, как этого добиться. За две недели я «единым духом» написала шесть коротких очерков, выбрав ряд характерных эпизодов из своей жизни, и озаглавила их «Письма к неизвестному другу»: 1) о работе переводчиком с группой рабочей молодежи в школе Коминтерна; 2) о работе с японским режиссером-политэмигрантом Иоси Хидзиката; 3) образно и легко о моем способе изучения иностранных языков («Janua Linguarum reserata»); 4) о колорите «Поэмы о Беовульфе»; 5) об одной ночевке в горах Киргизии; 6) о крещении двенадцати младенцев в церкви на Воробьевых горах (это было поистине красочное зрелище — окна окружены ярко-желтыми листьями, священник в ярко-красном одеянии, дети вокруг купели в белом).

Осень в том страшном году, трагичная для всех людей, была совершенна в природе. Подряд безоблачные, безветренные дни. Клены в парках золотились и пылали. В безлюдной Москве чисто и тихо. Очерки были написаны в Филевском

парке, на заросшей площадке высоко над рекой; днем, как неведомые звери, на ней покоились два колоссальных дирижабля воздушного заграждения. Я часто бродила там одна и уходила домой, когда они бесшумно возносились в небо в ничем не освещенных сумерках.

30 сентября в ВТО был большой концерт Обуховой, и пела она своим проникновенным голосом о том же: «В густолиственной кленов аллее...» В антракте Вендровская представила мен С. Д. Волнуясь, внешне я была спокойна; стесняясь, извиняясь, попросила его когда-нибудь просмотреть очерки и сказать, стоит ли мне этим заниматься. Он был любезен и обещал сделать это, но не так скоро, потому что через два дн должен был уехать далеко, в Улан-Удэ, принимать постановку «Фронта» Корнейчука — эта пьеса шла во многих городах, и многих критиков посылали в командировки. Я поблагодарила его и отошла в свой ряд.

Отец тогда срочно писал декорации к пьесе «Салют, Испания», и я две ночи помогала ему заливать задник, то есть писать точно такой же оранжево-ало-коричневый парк, как наяву в Москве в те дни всеобщего гор и моего счастья.

С. Д. вернулся в ноябре совсем разбитый, с пожелтевшим лицом и потухшими глазами. Условия в пути туда-обратно были невыносимы: битком набитый, грязный, насквозь прокуренный вагон, собачий холод и вместе с тем духота. Он, некурящий и чистоплотный, предпочитал подолгу стоять в тамбуре и смотреть сквозь пятна в обледенелых окнах на бесконечные голые пространства, на запущенные вокзалы, на безнадежно ждущих людей с детьми и вещами. Как он питался — неизвестно. Обо всем этом С. Д. рассказал довольно сытой публике в элегантном псевдоготическом зале Союза писателей. Потом сказал несколько официально прозвучавших слов о «Фронте» в бурятском исполнении. Наконец — насыщенный реалиями и цитатами доклад о монгольском эпосе по материалам, которые он ухитрился там собрать. Через несколько дней, встретив меня в коридоре ВТО, С. Д. вернул очерки и посоветовал продолжать в том же духе.

Шекспировским кабинетом ВТО руководил Михаил Михайлович Морозов, тогда ведущий специалист и переводчик, в plusquamperfektum’е — тот самый маленький мальчик Мика на картине Серова, а в 40-х годах уже громадный, громогласный мужчина в черном костюме, с черными волосами и темным отливом на щеках. Полный энергии, всегда оживленный, то радушный, то грубый, он всем давал возможность отдохнуть от забот, высказаться о литературе в своем кабинете и даже немного заработать переводами, рецензиями, рефератами. В московских

квартирах было нетоплено, сыро, часто темно — а тут, в ВТО, тепло и светло. Дома у всех горе, голод — а здесь можно было поговорить о высоких материях.

В первые годы войны С. Д. бывал в ВТО довольно часто, его доклады и выступления по чужим докладам любили слушать и высоко ценили. На одном из вечеров он с большим успехом прочитал свой перевод «Песенки Шекспира». Иногда мы вместе выходили после заседания, обмениваясь мнениями, понемногу узнавая друг друга, и тут же расставались на трамвайной остановке. Зимой С. Д. был плохо одет и зяб, дожидаясь «А». На нем было короткое поношенное зимнее пальто, стара каракулевая шапка и холодные ботинки. Я уже знала, как он нуждался, как был угнетен постоянными неудачами, но об этом не говорилось ни слова. Подходил трамвай, он уезжал либо на Плющиху к А. Г. Бовшек, либо на Арбат, 44, в свою собственную комнатушку. Я шла домой на Воротниковский, 10.

Бросив в конце 30-х годов основную специальность (иностранные языки), я ушла из ВОКСа, где служила референтом, и занялась графикой, оформлением и шрифтом на выставках и в клубах. Плакаты, цитаты, лозунги и диаграммы требовались повсюду и оплачивались хорошо — у меня было много по тем временам своих денег. Кроме того, во врем войны я работала в библиотеке Московского театра оперетты. Отец был там главным художником, я помогала ему писать декорации и подрабатывала в бутафорской у Любови Константиновны Ереминой, художницы, встречавшей С. Д. у Хализовых в 30-е годы, так что с ней я могла поговорить о нем.

В октябре 1941-го Театр оперетты эвакуировался в Прокопьевск. Основная часть труппы во главе с Яроном уехала, некоторые актеры остались с Аникеевым в Москве. «Сильву» и «Марицу» сплющили в одноактное состояние и показывали днем заезжим военным и москвичам в бывшем помещении Театра сатиры (ныне сломанном доме на Садовой).

Театр «Аквариум» стоял совсем пустой, но кое-где в нем теплилась жизнь: работали художники, бутафоры, маляры, столяры; была открыта библиотека, в которой почти никто не бывал, а я сидела целыми днями одна и читала вволю. Библиотека помещалась на втором этаже в большой светлой комнате; кроме маленького рабочего столика и стула были там четыре казенных кресла и круглый стол у окна.

18 июня 1943 года я пригласила туда в гости С. Д. — ждала отказа, однако он охотно согласился. Наши случайные беседы в ВТО были похожи на обрывки, на разрозненные черновики. Здесь можно было поговорить наедине, долго и

серьезно. Так как вход с площади Маяковского был закрыт, я вышла встретить его к шести часам у выхода из метро. День был летний, С. Д. пришел в белой рубашке с широко открытым воротником и в белых брюках, выглядел моложе обычного. Я повела его кругом через сад, сплошь засеянный салатом, укропом и петрушкой (актеры сами вскопали его и поделили грядки), потом через заваленные досками задворки, через мастерские, по безлюдным лестницам и коридорам. Все было странно, и я чувствовала, что ему это нравится. Вошли. Он увидел круглый стол, накрытый белой скатертью, уставленный закусками и сластями. Посредине — бутылка розового муската и тонкая вазочка с пышно цветущей веткой жасмина. Около нее несколько интересных книг. Он, вероятно, был удивлен таким неожиданным приемом. Тарелки, чашки, рюмки и серебро я принесла из дома, чтобы доставить ему удовольствие, в его жизни было так мало красоты и комфорта… Мы пировали часа три-четыре, рассуждая о всяких тонкостях, познакомились глубже. С. Д. откинулся в кресле, явно наслаждаясь, его грустное лицо оживилось, он острил и шутил. Глядя на него, я думала: ему пошел бы костюм кардинала или ученого XVIII века. Говорили о полузабытых (теперь вновь найденных) поэтах начала нашего века — он много знал о них, и я жадно слушала. С. Д. первый рассказал мне о Марине Цветаевой, — о ней я не имела никакого понятия, и прочитал два-три ее стихотворения. Затем об имажинизме в поэзии и в прозе, о журнале «Гостиница для путешествующих в прекрасном». Я принесла горячий кофе, под салфеткой были скрыты два пирожных и шоколад — при желании все можно было достать даже в 1943 году… Разговор тоже перешел на деликатесы — John Donne, Gongora, Rilke… Мы плавали за стеклами «Аквариума» как золотые рыбки в литературных водорослях. С. Д. не торопился, ему не хотелось прекращать этот сон в летнюю ночь, но к десяти часам все должны быть дома, война… Когда наше окно стало лиловым, мы встали и пошли обратно по темным лабиринтам. В темноте он плохо видел, и местами я вела его за руку.

В сентябре 1943 года С. Д. почему-то пригласил меня в театр по контрамарке (вероятно, другие знакомые отказались) на чью-то постановку в том же бывшем Театре сатиры. Спектакль был плохой, даже не помню названия. В антракте мы остались сидеть в зале, беседуя о том да о сем, и тут я сообщила С. Д., что мы очень давно знакомы, и напомнила тот день в Шуколове. Он удивленно, внимательно посмотрел на меня: «Вот как! И та гогеновская девушка, это были вы?» — «Да, это была я». — «Подумать только… fatalite…»

28 декабря я еще раз пригласила С. Д. в гости, уже домой, «на елку». Холодной военной зимой хотелось побаловать его уютом. В моей мини-комнатке жарко топилась голландская

печка, похожая на камин, дверца оставалась открытой, и тепло лилось прямо на широкий диван, покрытый мехом. Мы сидели на нем, смотрели на веселую игру огня, слушали треск дров и мечтали. В углу слева поблескивали старинные елочные украшения, пахло свечами и хвоей. Рядом, на низком столике, — вкусные вещи, портвейн, какие-то стихи. С. Д. грелся, прислонившись к подушкам и к высокой спинке дивана, глаза блестели, он был доволен. Говорили весь вечер, кажется, о книгах. Как он любил книги! Особенно редкие. Я подарила ему «Пословицы и поговорки» Даля. Большие малиновые угли пламенели, переливаясь, угасали. Я пробормотала строчку из «Ворона»: «...and each separate dying ember wrought its ghost upon the floor...»[1] С. Д. любил Эдгара По, и мы стали вспоминать его стихи и рассказы.

С тех пор он стал изредка бывать у меня, я наконец добилась своей тайной цели: упросила его принести мне почитать его новеллы. Бедные пожелтевшие страницы, не познавшие типографского шрифта! Я не литературовед; анализ, критика и оценка их мне и теперь не под силу, это дело опытных ученых, и этому не место в сугубо личных воспоминаниях. А тогда я была совсем не готова к их восприятию. Мы когда-то проходили Свифта на третьем курсе, но можно ли было вполне понять Свифта в девятнадцать лет! Так же давно я читала Гофмана, но без особого увлечения, — в юности моим любимым писателем был Джозеф Конрад. О существовании Гюисманса и Кафки я не подозревала до встречи с С. Д. Новеллы неожиданно обрушились на меня как нечто поразительно новое, я читала их по ночам с любопытством, с недоумением. Они немножко напоминали рассказы Густава Мейринка. Одни вдруг задели за живое, порезали, как ножом, и запомнились навсегда; другие показались безжизненными, условными, даже заумными, но над всеми витала безысходность. Все мое самоестественное, жизнерадостное «я» противилось какой-то черной пустоте, бесчувственному отрицанию всего теплого и светлого в людях и некоторому, особенно в отношении к женщине, цинизму. Не так трудно мне было понять умом эти отравляющие дух новеллы, как высказать свое мнение их автору. Я ограничивалась вопросами и похвалами — даже того, что не совсем поняла. Воображаю, как он смеялся надо мной... а может быть, и огорчался?

После какого-то дневного заседания ВТО, походив по книжным магазинам на улице Горького, мы спустились в Александровский сад. Мне давно хотелось определить мировоззрение С. Д. в целом, но это было нелегко: я была слишком молода, он был слишком оригинален как мыслитель. Все же на этот раз выяснилось немного, что он предпочитает Гегеля Канту, любит Шопенгауэра, интересуется Сартром. Культурами Востока он тоже занимался одно время, но, по-видимому, они не оказали

сильного влияния на его взгляды, и основа основ моего бытия, природа, была ему чужда. Это был подлинный европеец, горожанин, расколотый бинарными оппозициями, омраченный экзистенциализмом, скепсисом и подменами внешнего порядка. Когда я познакомилась с С. Д., идеологический гнет и всемогущая цензура уже сломили его как писателя, вытравили надежду, погрузили в глубокий, неизлечимый пессимизм. Все это было спрятано внутри, а в поверхностном общении с чужими людьми он был нейтрален, и репрессии 30-х годов миновали его. Убедившись в том, что в области философии у нас нет ничего общего, я решила не касаться метафизических истин, это было бесполезно. Наша беседа мирно вернулась в привычный мир искусства. <…>

О политике, о войне мы почти не говорили. Недоверия не было и тени, но мы будто инстинктивно берегли друг друга. С. Д. неохотно сообщал о своих поездках на фронт, о том, что видел там, и я не знала, как он относится к войне. В его произведениях звучат порой твердые, мужские ноты, он много изучал историю и был точен в описаниях военного дела и быта; но здесь, у меня, все это оставалось в стороне — он, вероятно, решил превратить меня в некий заповедник для отдыха от тяжелых впечатлений, однако я испытывала угрызения совести, так как не желала отрываться от действительности. Он же вел себя как в оранжерее: мы бродили среди литературных рафлезий и редких орхидей, любуясь ими, потом выходили в противоположные двери, каждый в свой мир. У меня дома С. Д. ни разу не столкнулся с родителями, хотя был знаком с ними, ни разу не ужинал со всеми в столовой. Никто из моих родных и друзей не знал о наших встречах, и он никогда не предлагал мне познакомить со своими. Полная изоляция установилась сама собой, мы не сговаривались об этом, но, кажется, оба находили в ней что-то возбуждающе-острое. <…>

А быт был ужасен. Однажды С. Д. проговорился, что все утро пробовал колоть дрова на дворе и чуть не отморозил руки (сомневаюсь, что он умел колоть и пилить…). В подъезде дома в Земледельческом переулке, где жила А. Г. Бовшек, были выломаны окна, полуразрушена стена, не закрывались двери, царил непроницаемый мрак.

В жизни бывают странные совпадения, начинаешь верить в эту самую fatalite, или всё — не случайно? В поисках работы я зашла осенью 1945 года в Гослитиздат, показала свои рисунки главному художнику Ильину, они понравились, и тут же заказали мне обложку, титул и заставки к «Избранному» Юлиана Тувима. Так как надо было переосмыслить в графике содержание книги, выдали один рабочий экземпляр на дом. Тут и обнаружилось неслучайное совпадение: взяв работу, я не подозревала, что в сборник

включены переводы С. Д., а он не знал, что обложку буду делать я. Мы были поражены и восприняли это в плане символики, даже мистики; это было в его вкусе. <…>

Объяснение произошло после трех лет утонченной игры. Мы расстались в 11 часов, но я до двух часов ночи носилась по Москве в вихре чувств, наивно веря, что принесу ему радость и vita nuova[1].

С. Д. был большим любителем символики, иносказаний, двойных и тройных смыслов слов. Это относилось и к вещам, происшествие с Тувимом позабавило его. У меня было бабушкино серебряное яйцо, оно делилось пополам, изнутри вынимались подставочки и ввинчивались снизу — получались две одинаковые рюмки с позолоченным нутром. С. Д. нравился этот маленький символ наших отношений, мы пили из них вино. Когда он бывал в ударе, он приводил много занятных случаев из книг и из жизни, которые я, к сожалению, не помню. Одним из самых изящных символических рассказов его я считаю «Дымчатый бокал».

Затиск — другое любимое слово С. Д. В нем сконцентрировалась вся его тоска по свободе мысли, вся горечь автора без читателя, поневоле не достигшего полноты самовыражения.

Однажды в минуту откровенности С. Д. произнес: «Как-то я стоял на мосту через Яузу, смотрел на реку и повторял: «Яуза, Яуза, Я…уза, я…узок; я — узок». Наверное, я узок, многого не понимаю, не принимаю. Звукова ассоциация подсказала мне это». Я была согласна в душе, но промолчала сперва, потом стала опровергать, а сама думала: он не причастен к сущности естества, к целостности мира, оттого не понимает многого, а люди не понимают его. Замкнут на себе. Мне казалось, что причина его невзгод коренится в эгоцентризме. Затиск давил не только снаружи, он душил его изнутри.

Весной 1946 года С. Д. был болен, стал шататься на улице, бояться переходить площадь. Узнав, до чего он истощен, я передала ему через жену доктора Преображенского, соседку по квартире А. Г., набор полезных яств — мед, лимон и прочее. Но этого было мало, нужен был рыбий жир, купить который в аптеке было невозможно. Мать моей подруги, детский врач В. А. Лебедева, достала мне бутылку этой ужасно невкусной снеди, а ее надо было доставить дальше, переступить один порог. Я позвонила Анне Гавриловне Бовшек, и она попросила меня привезти лекарство в Камерный театр, где преподавала художественное чтение. Я ничего не ела за обедом, потом взяла себя в руки и поехала. Около пяти часов заняти уже кончились, никого не было. А. Г. ждала меня в пустом

классе. Спиной к окну стояла невысокая смуглая женщина с гладко причесанными темно-каштановыми волосами. Она приветливо протянула мне руки, улыбнулась и просто поздоровалась. Я отдала рыбий жир, она тепло поблагодарила и вдруг обняла… по мне пробежала молния. В ее добрых карих глазах затаилась тревога — вся тяжесть изнанки его жизни лежала на ней. У меня хватило духу спросить об его здоровье, дружески попрощаться, но не помню, как я очутилась на Тверском бульваре, на лавке против театра. Заходило солнце, бегали дети. Я назвала ее Santa Anna — ведь она все знала обо мне — от него.

В конце войны Ярон вернулся со своей частью труппы и, нуждаясь в молодых актерах, решил открыть Студию Московского театра оперетты — «это вам не что-нибудь!» (придумал гимн с таким припевом). На конкурс явились самые неподходящие личности — женщина-кочегар, портнихи, уборщицы, мясник и два рабочих в кепках. Они умели очень лихо отбивать чечетку и шпарить подряд частушки. Одна, в вытянутой шерстяной кофте и серой косынке, спела с надрывом «Ой, мамо, мамо». Все было очень смешно, тем не менее жюри из опереточных звезд сумело отобрать двадцать человек, и студию открыли. Учебный план задумали самый серьезный, с историей партии по «Краткому курсу» и с историей театра — тут понадобился лектор. Место давало почасовую оплату и продовольственные карточки. Я предложила его С. Д., и он со вздохом согласился (непонятно, почему у него, члена ССП, не было карточек?). Самое нелепое в этом деле — неизмеримая разница уровней образования, он читал лекции в вакууме. Избегал меня в театре, где мы когда-то пировали в первый раз, все изменилось, а на вопрос «Как дела в студии?» отвечал, махнув рукой: «Да никак. Мне все равно».

Еще раз неожиданно столкнул нас случай (?): зимой 1947 года отец получил на два-три дня работу в клубе Осоавиахима в бывшем ресторане «Яр», и я опять помогала ему что-то красить, и опять совпадение — в эти же дни С. Д. читал там какие-то лекции. Раза два мы вышли вместе и, едва дыша в автобусном затиске, удивлялись этому случаю.

В апреле 1947 года напросилась в гости на Арбат, ссылаясь на женское любопытство. С. Д. пригласил мен в самое неудобное время, в четыре часа дня. В конце темного коридора старой общей квартиры — дверь направо в его собственную комнату, которую получил в 1922 году после переезда из Киева в Москву. Вошла вслед за ним, повесила пальто на гвоздь у двери и огляделась: тесная-тесная, узкая комната, старомодное окно прямо в дом напротив; перегруженные книжные полки; кровать с одной плоской подушкой; стол у окна, два стула, шкаф. Несомненно, он описал эту жилплощадь в рассказе «Квадратурин». С. Д.

растерянно предложил мне сесть на стул, сам сел на другой. Разговор не клеился. Он принес и положил на стол, покрытый бледной клеенкой, две порции мороженого в бумажках. Я попросила блюдце и ложку. Поискав довольно долго, он дал мне позеленевшую медную ложечку — я никогда ее не забуду… Разговор опять не клеился. С. Д. встал и принес из кухни эмалированный чайник с кипятком. Пили жидкий чай в граненых стаканах, закусывая жестким и пресным печеньем. С. Д. был чем-то удручен, и путешествия в прекрасное не получилось. Он стал показывать мне фотографии и рассказывать о себе. Вот на выцветшей карточке дама в широком кринолине 60-х годов прошлого века — его мать, Фабиана Пашута. Вот четыре сестры — одна из них редкая красавица византийского типа, Елена, — долго не могла я оторваться от ее лица… Как жаль, что она давно умерла. Вот он сам сидит на каменном парапете на острове Капри, тонкий, длинный молодой человек. Еще студентом Киевского университета он на скромные средства отца отправился за границу, как тогда полагалось, прежде всего в Италию. С. Д. рассказывал и об убийстве Столыпина, он в тот момент был на улице, увидел бегущих людей, побежал с ними. Его семья жила в Киеве в Преславинском переулке.

В этой унылой комнате он был совсем другим, выглядел намного старше, а голос его звучал мягче, теплее. У него было очень выразительное лицо, особенно глаза, небольшие, умные, неразгаданные, они вдруг темнели изнутри, если наплывала тревога или тоска. Я заглянула в их глубь в тот вечер, как в беспросветную бездну: мне стало не по себе, душу защемила жалость. Скоро собралась уходить, и С. Д. тихо, грустно сказал мне: «А-а, вы никогда не поймете меня, вечно юная Нэле. Между нами двадцать четыре года… Все могло быть иначе. Не пытайтесь меня воскресить, лучше направьте свои силы на что-нибудь другое…»

Ид оттуда по арбатским переулкам, я испытывала раздвоение: и смешным показалось его хозяйство, его робкая неумелость — ведь даже пальто не подал, хотя был воспитан как настоящий джентльмен; и гнетущим было впечатление, которое осталось от этого дня. Пусть невероятно: в интимные минуты я чувствовала себ старше его. Я была сильна, жизнеспособна, неуязвима и как бы с высоты смотрела на иззябшего, затерянного ребенка, лишенного материнского тепла. Иллюзия на миг! На самом деле — пустой, холодный взгляд, иронический извив губ, вежливое «вы». Рассудок нашептывал мне то ли вывод, то ли совет: не берись не за свое дело. Если даже Santa Anna не смогла.

Фабричный клуб. Мальчишки. Мусор. Кирпичные стены. Зал с Портретом, лозунгами, графином и кумачом. Сонная одурь, только радио бубнит свое. Пришло всего шесть баб с детьми и три парня в майках — чего-то послушать. Сев за стол против графина с мутной водой, С. Д. начал неохотно и вяло рассказывать им что-то о французских классиках (это мог бы сделать студент-практикант). Было досадно, обидно за его интеллект, эрудицию, потраченное время. Но время — деньги. Отделался через час. Вопросов, разумеется, не было. Я ждала у входа, и он был, видимо, доволен, что его слушал хоть один понимающий человек. Ехали молча, все было понятно без слов. Он плохо себ чувствовал физически, но отправился на Курский вокзал встречать А. Г., а я — домой, с «серым камнем на груди» (была такая песня).

С. Д. не подарил мне ни одной книги, не принес ни одного цветка со словами: «Нэле, это тебе». Тот, кто всегда обращается на «вы», — не настоящий друг, об этом писал Пушкин. Это была не дружба, а подспудная конфронтация при эфемерном сходстве интересов. Неизвестно, как он относился ко мне, почему не приходил по три месяца, почему вдруг звонил, приходил и сидел от шести до десяти. Такой педантизм раздражал меня, однообразие мучило: хоть бы раз куда-нибудь поехать, пойти — нет. Следуя политике открытых дверей, я не задерживала его ни на минуту, не спрашивала о следующей встрече, никогда не требовала ничего. Наверное, именно эта политика устраивала С. Д., можно было не бояться очередного затиска. Он был осторожен в поведении, застенчив в быту и кое в чем боязлив. В результате возникло отчуждение от простых людей и вещей. Он сознавал это и выразил в таком техническом афоризме: «Мой годный мотор стучит вхолостую, потому что нет приводных ремней».

28 декабря 1948 года С. Д. был у меня на елке в последний раз. Пришел сам не свой — возбужденный, нетрезвый, нетерпеливый. Лицо покраснело, глаза потемнели, седые волосы не приглажены — я ни разу не видела его в таком состоянии, все существо на грани отчаяния. Он говорил отрывисто, горько: «Врачи нашли у меня белокровие… скоро меня не будет. Прозевал всю жизнь. Если вы доживете до…, может быть, напомните обо мне…» (обещала, дожила, напоминаю). Помочь ничем было нельзя. Пытаясь отвлечь его, я болтала о злободневных пустяках, угощала сосисками с пивом. С. Д. любил тот большой стеклянный кувшин, вмещавший три литра, с удовольствием держал его в своих больших белых руках. В десять часов он, как всегда, ушел, оставив очень тяжелое впечатление. «Пора все это прекратить, — подумала я, — пора». И он больше не звонил и не приходил.

В марте 1949 года я зашла в Гослитиздат показать эскизы к сборнику «Польская новелла». Совсем неожиданно столкнулась с С. Д. на лестнице, поздоровалась, конечно, не собираясь задерживать его. Он посмотрел на меня каким-то невидящим взором и чужим тоном сказал: «Ах, это вы…» — не узнал! Не узнал, стоя лицом к лицу. Я была ошеломлена. Потом он сидел с кем-то на диване в коридоре, разговаривал о делах. Я два раза прошла мимо, в отдел и обратно, не замечая его, и он не замечал меня. Это был конец. Я была тогда в черной шляпе и в черном пальто — как в трауре. Больше никогда не видела я этого несчастного человека.

Крушение яхты

(Воспоминания об аресте, 1949)

Полвека тому назад моя жизнь раскололась на две части. Надо ли вспоминать об этом? В числе десятков миллионов мой случай был самым заурядным, но дело не в том кто, а в том как: еще один мазочек в грандиозной панораме тогдашних репрессий. Чем больше деталей, тем лучше проявится она в XXIII веке, для того и решаюсь влить свою каплю в море. За легкий характер и походку меня прозвали «гоночной яхтой» — вот она вдруг налетела на риф и пошла ко дну.

1949 год… Мы встретили его дома, втроем, в последний раз… Две приметы подали знак: вечером пришел из театра папа расстроенный и мрачный — только что умер его верный помощник маляр Крутов, днем был на работе жив и здоров; я надела к ужину жемчужное ожерелье — оно порвалось, и жемчужинки раскатились по полу. «Ах, как нехорошо, это к слезам», — сказала мама. Встретив Новый год за столом, мы перешли в мою комнатку, зажгли елку и сели, обнявшись, на диван, прижались друг к другу. Еще ни разу не связывало нас так крепко родное тепло, интимное полугрустное настроение… Очень редко бывал так близок и нежен папа. Мы помолчали вместе, поговорили по душам — не хотелось разъединяться — до четырех часов.

В марте я с корнем вырвала из себя связь с Кржижановским, и весь мир опустел. В апреле серьезно заболел папа. Месяц пробыв в больнице, 27 мая он умер дома. Я зарисовала его скульптурное лицо. Ликует весна, безоблачный день. В крематорий собралось много его друзей — засыпали гроб ландышами и сиренью. Потом мы с мамой остались одни в опустевшей пыльной квартире. Я не восприимчива к мистическим явлениям, но на этот раз при мне творилось что-то непонятное: полдень, жарко и душно; мамы нет дома, я занимаюсь за папиным столом — и вдруг по всей комнате запрыгал треск. Заглянула в его клеянку — растрескался

клей, защелкали стены, мебель и даже книги. Я испугалась, перекрестилась и сказала «чур-чур-чур» вопреки своему скептицизму. Перестало. Что это такое?

В июле я была в полном упадке. Разрыв с любимым человеком, кончина отца, творческое бесплодие, пресыщение эстетическими разносолами и деликатесами, неинтересная шрифтовая работа — все это повергло меня в глубокий вакуум. Ярко освещенные Солнцем голые улицы безжизненны, настоящее и будущее беспросветны. Домоуправление зарилось на нашу квартиру, в подъезде торчали подозрительные типы, над нами витало невидимое зло. Нужна была кардинальная перемена, и она явилась в форме ареста. Я допускаю возможность существования разумной космической силы, определяющей ритмы жизни.

Англичане избавляются от сплина посредством путешествий. Я решила еще раз поехать в Карелию, вылечить дух на тихих озерах. Мама согласилась расстаться на месяц, видя, что я «погибаю», а меня грызла совесть: можно ли оставить ее одну в тревоге и тоске? Но все мои чувства тогда притупились. Перед отъездом я допустила три оплошности: зашла в Карело-финское постпредство и расспрашивала там о маршрутах; свела у Нины на кальку подробную карту местности; взяла с собой английский роман и блокнот для зарисовок. Это очертило вокруг меня демонический круг подозрений, за мной уже давно следили… Взяла билет в Ленинград через Кашин-Сонково-Будогощь-Мгу, мне так понравился этот окольный путь через сказочные леса. Уложила в свой видавший виды рюкзак обычный минимум и сделала уборку в норке. Неосознанное предчувствие: в девять часов, окинув ее взглядом, я открыла в ней все тепло любви, сокровенную красоту. Полумрак от настольной лампы, в нем пестреют картины, книги, букет из сухих листьев клена, меховой коврик на диване, подушки. Вижу во всем больше форм и красок, чем за все эти годы. Комнатка посылает мне прощальный привет, раскрывая сущность и чары вещей, к которым я так часто бывала равнодушна, — я пожалела, что завтра надо уезжать.

Ночью видела дурной символический сон. Сижу на полу перед печкой, разжигаю дрова, а за ними под трубой маленький котенок, не может выбраться оттуда, на нем загорается шерсть. Мое духовное «я» висит в печке над огнем и созерцает с горькой жалостью свое «эго» — я в образе котенка. Он, однако, не погиб, а бессильно вывалился на железный лист перед печкой, превратился во что-то, изник. В народе говорят, печка — это печаль, и мне стало не по себе.

26 июля 1949 года. Проснувшись в девять утра, немножко повалялась в постели, не желая расставаться со своим мягким вязаным одеялом. Непо-стижимое чувство: *мне не хочется ехать*! В три часа пришла наша новая знакомая Марья Борисовна Аптекарь — совсем чужой человек, недавно привязавшаяся к папе и ко мне, эффектная полна дама. Нам хотелось побыть вдвоем, не вышло. Сделали к обеду пельмени, выпили по рюмке, мне пожелали счастливого пути, но счастлива я не была. В пять часов собрались на Савеловский вокзал. Уходя, обернулась на большую комнату — столбик блеска на паркете, силуэт растения на окне. «Покидаю тебя», — сказало сердце, но не прозвучало в рассудке. Уехали на такси.

На перроне мало народа, состав уже подан. Хочется пить — делаю два шага к ларьку с водами, но там очередь, нет, не пойду: не могу терять ни минутки рядом с мамой. Осталось четверть часа… пять минут… три. Пора. Поцеловались, трудно было разомкнуть объятия. Все не так, как всегда: сколько раз я уезжала, и надолго, и подальше, — ничего подобного мы не переживали. Она благословила меня в Путь…

В вагоне No 8 ни одного пассажира и блестящая чистота (?!). Тихо тронулся поезд, за окном отплывает назад мамина фигурка в светло-сером пальто и соломенной шляпке с полями, печальное постаревшее лицо, любящие глаза провожают вагон… Зачем я удаляюсь? Ускоряется ход, скользят мимо, как в кино, такие знакомые пригороды — платформы Окружная, Бескудниково, Марк… водохранилище, мосты, деревни, дачи, поля и леса, но нет никакой привычной связи с ними: все отчужденное, как мираж, но не пейзажи мертвы, а я сама. Смотрю и повторяю в такт колесам новое двустишие: «И по каналу возвратиться / я в сентябре хочу домой». Забралась наверх, устроилась, легла читать. Внизу появилась какая-то баба, не спускает с меня глаз и молчит — неприятно. Между Лобней и Луговой подошел проводник, с ним какой-то тип в куртке. Как всегда, протягиваю свой билет — взяв, оба долго рассматривают его и… «Ваш билет поддельный». — «Не может быть, я взяла его в кассе!»

И тут началось ОНО. Мне велели слезть с полки, я возмутилась, но нельзя же объясняться, свесив голову вниз. Как только я встала на пол, те двое схватили меня под локти и затащили в купе проводника. Там был еще один, военный в синей фуражке МГБ. «Да за кого вы меня приняли? Да, я художник-график, но не подделываю билеты, вы ошиблись!» Напрасно. Кто-то приволок за лямки мой рюкзак и запер дверь на ключ. Кто-то стягивает с пальца камею с профилем Деметры, кто-то лезет лапой за воротник блузки, тащит мешочек с паспортом и деньгами, кто-то сует

в лицо лист бумаги, — замечаю только два слова: ордер на арест. Мне тошно, в чаду мелькает мысль: недоразумение или конец? За ЭТО или за ТО?

Высадили в Дмитрове, та бледноглазая грудастая баба приторно-вежливо взяла меня под ручку и подвела через вокзальную площадь к легковой машине. Вдали поезд еще стоит, косые лучи с запада пронизывают его окна, в нем осталась мечта об озерах Калевалы и все мое непутевое прошлое.

Машина мчитс в Москву по Дмитровскому шоссе. Шофер и военный впереди, агент, баба и я между ними сзади. Курят, подшучивают, задают игривые вопросы, — неестественно отвечаю. Обещают выяснить дело с билетом на вокзале. Несмотря на сокрушительный удар, начинаю соображать: если на вокзал, значит, ЭТО, если мимо, значит, ТО. Вс страна охвачена арестами, настал мой черед, не верю, что отпустят, конечно, конец. Мелькают опять Лобня, мосты, Марк, Бескудниково, Окружная. Владея собой, я внешне хладнокровно веду с ними фальшивый разговор, а внутри напряжена до предела, свихнулась на неестественный план. Они убедились в том, что я не устрою истерики, не начну драться и не брошусь под машину. Я вполне трезво отдаю себе отчет в том, что сила солому ломит.

Вот и Москва. Пролетели мимо вокзала в центр — значит, ТО. К чему весь этот обман? Мерзкие подлые ханжи, наверное, каждый арест для них новая потеха. Вот и Лубянка. Легко выскакиваю из машины. Подъезд No 3 (узнаю — тот самый, где жили Вермели когда-то, я была здесь в детстве). Тяжелая дубовая дверь плавно закрылась, отрезав весь мир: «Lasciate ogni speranza voi ch’entrate»[1].

Владения спрута

(Воспоминания о тюрьмах)

Лубянка

Привели в коридор, загнали в бокс — клеть без окон, чуть побольше лифта, голые стены, стол и стул. Электричество не гасят, ни дня, ни ночи нет. Сколько времени прошло? Шесть часов, двенадцать? Сутки? Я не знаю. Во мне — хаос, думать не могу, делать нечего, двигаться негде. Решив убить время сном, свернулась в клубок на полу — тотчас же звякнули ключи, всунулась морда и рявкнула: «Встать! Здесь не положено лежать». Села на стул, положила руки на стол, голову на них. Атрофировались чувства, ум вдребезги разбит, его осколки беспорядочно крутятся в голове. Вопросы, догадки, образ мамы и жалость к ней, острое

сознание краха и своей вины: так тебе и надо. Принесли миску щей и кусок черного хлеба — я не съела ни ложки, ни крошки, исчезла потребность есть, не могу. Поскольку еду приносили-уносили несколько раз, я, наверное, пробыла тут более суток. Что будет с мамой, как переживет она мою погибель, вся любовь ее сосредоточилась на мне. Что будет с моим дневником, рисунками, стихами? Что подумают друзья? Как стыдно! Вот разбилась гоночная яхта «Фрейя», как ее, то есть меня, называл Э. М. И что будет со мной? Мелькнул интерес к будущему и на миг отогнал мысли о прошлом. В этом хаосе, как ни странно, не было только страха, несмотря на то что я была готова ко всему — вплоть до расстрела. Я была наполовину мертва.

…Опять зазвякали ключи — вывели меня на обработку. Где-то раздели, осмотрели тело, обыскали одежду, срезали пуговицы, сняли подвязки, выдернули резинки из штанов и шнурки из полуботинок, отобрали зеркальце и пудру. Отвели в душ, нарядно облицованный синими плитками. Я хотела ошпарить себя кипятком, умереть от инфаркта — однако вымылась как следует и вышла с мокрыми волосами. Трико завязала на себе узлом, чулки закрутила вниз до колен. Привели в какое-то технически оборудованное помещение, где фотограф снял меня с трех сторон. Заставили приложить пальчики к черной пасте и к казенным бланкам: теперь я настоящий уголовник. О, позор! Оттуда подняли на лифте на пятый этаж и впустили в камеру для особо важных преступников.

Она похожа на каюту второго класса на приличном пароходе: косо-угольные стены голубовато-пепельного тона; окно забрано снизу железным «намордником», видна лишь полоска неба наверху, но довольно светло и очень тепло. Три кровати с эластичной сеткой, на всех белье, плоская подушка и шерстяное одеяло. Посередине двухэтажный стол — под верхней доской вделана полка для кружек, хлеба и мелочей.

На своих койках молча сидят двое: молодая женщина Алла Любимова и старая татарка Бабаджан. Вид Аллы меня поразил — лицо как стеариновая свечка, распущенные темные волосы, на юбке вырван клин. Ей все равно — сидит уже два года. За что? Муж ее сестры, Гудзенко, шифровальщик советского посольства в Канаде, продал секретный код и остался там с женой. Здесь арестовали всю семью — безобидного служащего отца, домашнюю хозяйку мать, беспартийного инженера зятя и Аллу, — оторвали от трехмесячного ребенка. Никто из них ничего о поступке Гудзенко не знал, но… Доверчивая, неопытная Алла послала сестре в Канаду письмо с упреками, за это ей добавили к шпионажу измену родине, статью 58-1а.

Бабаджан сидит за спекуляцию валютой. Группа татар занималась на Центральном рынке торговлей цветами, используя букеты для передачи при обмене рублей на доллары и обратно. Она бодро хвастается, что нажила таким образом 16 000 рублей — тогда это было очень много.

Через два дня вызвали ночью на первый допрос: попробую описать его документально. Солдат-конвоир, спустив на лифте, долго вел меня по коридорам, руки назад. На границе между внутренней тюрьмой и Дворцом МГБ-НКВД-ГПУ-ВЧК поставил лбом к стене и сменился, другой солдат слегка обшарил меня и повел дальше, по широким, до блеска натертым коридорам этого знаменитого здания на Лубянке. Встречались смазливые накрашенные секретарши в узких юбочках, но ни один арестант здесь не может столкнуться с другим — график расписан с дьявольской точностью, до секунды. Меня привели в кабинет к следователю Зотову (вероятно, псевдоним). За большим письменным столом сидит небольшой приземистый человек южного типа — не то кавказец, не то узбек: черные волосы, низкий лоб, сросшиеся брови, колючие черные глазки. Бритый с просинью на красных щеках. На нем пиджак и синяя рубашка. Сидит, наклонив голову набок, и скрипит пером. Я сижу поодаль и жду. Он молчит, я молчу, полагая, что он должен задавать вопросы. Проходит полчаса, час, два… он все пишет и пишет. На стене большая карта СССР, на ней цветные линии к точкам от Москвы до самых до окраин — карта архипелага ГУЛаг. Смотрю на нее; проходит еще час, и мне становится трудно сидеть на стуле. Призываю на помощь йогу, пытаюсь сосредоточить взгляд на полу — но на паркете мерещатся какие-то рожи, мне плохо. Не выдержав, я тяну руку, как школьник в классе. Он, не поднимая головы, говорит:

— Ну, что?

— Вы будете спрашивать меня?

— Сознавайтесь в своих преступлениях. Я давно жду.

— А я жду вас, разве не так? Я не знаю, как это…

— Сознавайтесь сами.

— В чем? В чем вы обвиняете меня?

— Вам лучше знать. Говорите.

Тут меня осенило: все заранее решено. Не надо хныкать и спорить.

— В каких же преступлениях надо сознаться? Что вам угодно?

Он как будто замялся, отложил перо и посмотрел на меня:

— А это мы хотим узнать от вас, говорите.

— Я признаюсь во всем, что хотите, мне нечего терять, все равно.

— Мы не обвиняем, а выясняем. Дело зависит от вас.

Я решила идти нестандартным путем и принялась выкладывать все начистоту: не верую в коммунизм, слушала «Голос Америки»; работала с иностранцами, но всегда честно; люблю западную литературу; была индивидуалистом, туристом, эстетом и прочее. Пусть ломится в открытую дверь. Ничего конкретного он не спросил, нажал кнопку — явился солдат: «Заберите арестованного». Тем же путем обратно в тюрьму. Было часа четыре ночи, а в шесть — подъем. Хуже всего не спать.

Бабаджан убрали из камеры, ввели взбешенную женщину лет тридцати. На ней висит мятое заграничное платье, отобрали пояс. Она выходит из себя, ломает руки и, мотая растрепанной головой, кричит: «Безобразие! Беззаконие! Мерзавцы, я им покажу! Я докажу!» Алекс-Максимова имела счастье или несчастье выйти замуж за американца, сотрудника «Associated Press». Его отозвали в США, ее с ним не пустили — брак с иностранцем тогда считался недействительным. Чем резче она требовала отъезда, тем круче был запрет. В огне возмущения пошла просить помощи в посольство США, и в пяти шагах от двери ее любезно пригласили сесть в машину… от Манежной площади до Лубянской тоже два шага. Алекс-Максимова пыталась повеситься на своем пояске; она ведет себя в камере как дикая кошка, ругается, плюется на допросах — тем хуже для нее.

Тиха Алла пробует успокоить Алекс-Максимову, а я убедить, что здесь «нет выхода, есть только вход» (М. Волошин, «Пещера»), но тщетно: у нее неукротимый нрав, и кончилось тем, что за буйное поведение ее перевели в Лефортово — страшную железную тюрьму.

Второй допрос через два дня, днем, в другом кабинете и в другом стиле. В присутствии важного чина, кажется, генерала, Зотов и еще два следователя ошеломили сразу неслыханными оскорблениями, отборным матом; облаяли не только меня лично, но всю интеллигенцию как таковую — происхождение, воспитание, образование: «Вы, вы все гниль, мусор, битое стекло… Выкинуть на помойку! У-у,

дрянь, сволочь, враги народа… Истребить как клопов!» И т. п., и т. д., и т. д… Сперва я была поражена, потом стало смешно: четыре мужика в военной форме тратят медвежьи силы на комара. Видя, что я не лезу на рожон от обиды и не рыдаю от страха, они вдруг перестали орать и задали ряд вопросов нормальным тоном. Я потом узнала, что следователи при этом ярости никакой не чувствуют — натренированы, как собаки, и применяют набор заученных приемов, чтобы выявить слабинку жертвы и решить, бить или не бить.

Обижаться на глупость — глупо; реагировать возмущением на поругание — значит опуститься до их уровня, признать всерьез — а я неуязвимый эльф. Через час мне предъявили бумажку с обвинениями по пяти-шести уголовным статьям! Взглянула на нее, ничего не поняла и подписала, не читая: много шума из ничего.

Нас водят «гулять» на крышу с каменной оградой — желающие не могут броситься вниз. Ходим по кругу, спереди и сзади конвой. Мне эти прогулки не нужны, извлекают из анабиоза, напоминая городским гулом о продолжении жизни. 23 августа, в день моего рождения, над крышей МГБ в темнеющем летнем небе возник новорожденный месяц, самый тоненький серебряный серп. В зените мерцают звезды, веет свежий ветерок, а там внизу светится и шумит вечерняя Москва. Хожу и смотрю на небо, озаряет интуиция — Природа подает мне знак: ничего страшного не будет. Я в тебе, ты во мне.

В сентябре нас с Аллой перевели в 19-ю камеру на второй этаж. Оказалось, что я вовсе не такой важный преступник, чтобы содержаться в особой камере наверху. Высокая длинная комната серо-буро-зеленого цвета, окно почти все в намордник, неба не видно, темно. В ней стоят поперек шесть кроватей, между ними втиснут большой стол-биплан. Несколько дней сидели вдвоем. Алла пассивна и грустна, ее изводят мысли о ребенке.

Затем появились двое. Пожилая бесцветная финка — белые волосы, белое лицо, брови, глаза, губы; на ней белая, уже пыльная грубошерстная накидка без рукавов. Назвалась она первой (?) женой Куусинена, лидера финских коммунистов. Арестована вторично, за что — не говорит, уже побывала в лагерях. Она суха и несимпатична, держитс особняком.

Элла Ванникова — ей только восемнадцать лет! Ее отец инженер, восемь лет работал по контракту в США, там она окончила школу и приобщилась к американскому образу жизни. Возвращение в СССР восприняла как трагедию — все показалось чужим. Потихоньку от родителей девушка стала встречаться с американкой — журналисткой по имени

Лорийн в каком-то клубе, в скверах и кафе. Она влюбилась в нее, тратила все свои деньги на подарки и сама навязала ей информацию: начала умышленно передавать сведения о недостатках советской власти. Это уже не надувное, а настоящее преступление — ее, конечно, арестовали за шпионаж. Элла в камере необщительна, бредит Америкой, мечтает о своей Лорийн; упорно голодает и не двигается совсем, сидит на койке с голыми ногами, хочет заболеть… У нее тяжелые слабые руки и ноги, истощенное тело и надрывный кашель с мокротой, она уже больна. Перед сном Элла, некрещеная еврейка, молится Христу по-протестантски, стоя на коленях в длинной белой рубашке, сложив ладони у груди: черные пряди свисают по бокам бледного лица. На допросах она стойко, злобно молчит — заведомо обречена. Впоследствии я узнала, что ей дали пятнадцать лет строго режимного лагеря, — она не выдержала и умерла от туберкулеза через год.

В камере научили хитрить: кто плохо переносит голод, тех вызывают днем, а вечером приносят им обед и ужин (не положено оставить человека без обеда!). Тех, кто любит поспать, вызывают ночью: только наконец ляжешь в постель, через четверть часа стук ключей — «пожалуйте бриться» до трех или четырех. Я — соня, намекнула Зотову, что страдаю бессонницей, а в другой раз, что мне плохо без обеда, и помогло: стал вызывать днем.

Сижу у него в кабинете за столиком справа от двери, смотрю в окно. Голуби! Откормленные массой отходов с кухни и объедков от господ, от зеков, потерявших способность есть, они воркуют и спариваются за окном, точно издеваясь над замученными людьми. Жирные, чувственные, неопрятные птицы. Терпеть не могу и удивляюсь, почему св. Дух и символ Мира в образе такой противной твари. Налезая друг на друга от жадности, дерутся до крови не хуже крыс. Смотрю и жду битья и пыток, но нет… (и в 19-й камере никого еще не били). Зотов смотрит исподлобья жесткими глазами, пишет протокол и задает вопросы, а я, подобно Шехеразаде, плету ему часами быль и небылицы, подписываю, не читая.

ДЕЛО No … Так в чем же дело? Мама тоже здесь, и наш дом разорен дотла. Не могу себе представить, как она все переносит с ее непокорным нервным характером, самолюбием и упрямством, с ее любовью ко мне, к очагу и к своим вещам? Кто возбудил это Дело таким неправдоподобным доносом? Хранение американского оружия! Заговор! Побег в Финляндию! Радиослушание «Голоса Америки»! Групповая антисоветская агитация! Да, слушала радио в Царицыне у Э. М. и рассказывала своим, и нашли у меня в столе вещественную улику — перевод с французского статьи эмигранта Михаила Осоргина, которую

Э. мне принес. Но не более того. Отчасти виновата и мама: к нам нередко приходил поболтать о политике муж одной родственницы, Тол Абатэлло — статист Большого театра. Человек не очень умный, очень реакционный, он увлекался оккультными тайнами Блаватской, писал посредственные стихи «под Надсона» и прятал их под тюфяк. Он вел с мамой громогласные беседы за столом при открытом окне, а рядом за стеной у другого окна сидел Трубенев, сексот МГБ, злой, как цепная собака. Трое — уже «сообщество». Мама никогда не считалась с моими просьбами вести себя осторожно: нас погубило собственное дурацкое легкомыслие. Подозреваю еще кое-кого, но не имею доказательств.

Если нет убеждений, за которые надо умереть, можно заставить следователя бить кулаком по пуховой подушке — признаваться в чем угодно, играть в шашки-поддавки. Он жаждет «контрдействия», протеста и теряется, когда его нет. Заговаривать зубы даже забавно. Я не имела и не имею никаких иллюзий насчет «законов». Гораздо хуже сидеть в своей тюрьме коммунистам и простакам, благоговейно верующим в справедливость родной системы: они мучаются вдвойне, переживая наряду с унижением горькое разочарование, гнев и тоску.

Бренчат ключи, просовывается рожа Белой лошади, нашей надзорки, звучит формула «собирайтесь с вещами» (как ни мало дают с собой в камеру, положено с вещами) — и сам человек-вещь навсегда исчезает из пол зрения. Так вызвали Эллу Ванникову. Мы провели сутки втроем, на другой день дверь отворилась, и в камеру одна за другой торжественно вступили три несоизмеримо разные особы: интеллигентная дама за сорок лет; высокая худа старуха в длинном балахоне, коричневое лицо окружено вздыбленной массой только что вымытых белых волос; румяная, курносая, коренастая девчонка маленького роста. Они представились нам по очереди: Вера Николаевна Ледковская, Сабиха-Сюнбюль Гуссейн-гзы, Маша Смирнова.

Маше двадцать лет. Задорные синие глаза. Хохотушка — сверкают чистые белые зубы. Образование — с грехом пополам восемь классов. Отец — рабочий-передовик, член партии, и брат тоже, и мать работает на заводе — образцовая пролетарская семья. Все, как следует: и квартирка в пятиэтажке, и грамоты в рамках, и радиорепродуктор на стенке, и газеты на полке, только вот она, Машка, вышла за эти рамки — загуляла. Шла по улице, увидела в окне чернобрового парня с потрясающими черными усами и обомлела. Подмигнула ему, он кивнул; вошла во двор, он вышел и увлек ее внутрь югославского посольства, в свою комнату, прямо к столу: водка, вино, закуски, сласти. Его зовут Жарко Гуджулич. Ах, Жарко! Как с ним жарко! Выпили, разделись до трусов, бегали по

комнате, прыгали через стол, боролись, слабея от смеха, наигрались — и в постель. Рано утром он потихоньку выпустил ее. Дома, конечно, один ответ, ночевала у подруги. Любовь отняла у Машки разум — еще два свидания, и конец — делу венец: к ужасу незапятнанного отца, за ней пришли, увели на Лубянку. Весело рассказывая об этом, Машка восхищается черными усами лихого Жарко и ничего не боится — брат служит в органах, поможет, а если нет, стоит за это и посидеть… (Ей дали всего пять лет ИТК, помиловали через два года.)

Сабиха-Сюнбюль охотно, как сумела, рассказала свою историю. Ее муж, турецкий коммунист, спасаясь от полиции на родине, перемахнул верхом на коне советскую границу где-то в районе Карса. Его доставили в Баку и проверяли в заключении полгода, после чего товарищу герою дали работу и квартиру, помогли переправить из Турции жену. Сабиха поселилась с мужем в СССР и начала привыкать к новой жизни, однако… В конце 30-х годов его заподозрили в чем-то, взяли и, кажется, расстреляли. Сабиха осталась на чужбине без крова и без средств, собралась в Москву и пошла в турецкое посольство проситься домой. На другой же день попала к нам. Ее, как положено, обработали, обругали… Она плохо говорит и не все понимает по-русски: следователь назвал ее «старая блядь», она удивленно спрашивает нас, почему «старый билет»? Мы объяснили, она долго смеялась над этим — чувство юмора не покидает ее и в тюрьме.

Темные с проседью волосы Веры причесаны на прямой пробор, две косички связаны венком, серые глаза прищурены с непривычки, — очки отбирают в камере и выдают на допрос, густые брови слегка опущены к вискам, прямой нос и правильно очерченные губы придают лицу античную строгость. Но негибкое, полноватое тело ее не соответствует гордой голове.

Вера Ледковская родилась в 1905 или 1906 году в имении под Самарой, в благородной и богатой семье предводителя дворянства, члена совета директоров Волго-Донского банка Н. Ледковского, назначенного потом главным инспектором Министерства просвещения в городе Вильно, где прошло ее детство. Вера получила аристократическое воспитание и образование, с детства говорила только по-французски, хорошо знает немецкий и английский. Увлекаясь Ибсеном, выучила сама норвежский, он-то и стал причиной ее гибели. Отец ее давно умер, она жила вдвоем с матерью в родной Самаре, переименованной в Куйбышев.

В начале войны туда был срочно эвакуирован дипкорпус. Норвежское посольство нуждалось в переводчике, и Вера начала там работать. Когда всех стали возвращать в Москву,

посол предложил ей уехать вместе с ними, взять с собой мать. Она согласилась… Так как у них не было ни площади, ни прописки, их поместили в здании посольства — это было нечто из ряда вон выходящее: полноправная советская гражданка и член профсоюза безвыходно проживала на экстерриториальной площади! Работа была очень интересна и хорошо оплачивалась валютой, налоги же Вера платила в пересчете на рубли. Все необходимое покупала посольская прислуга, но готовила у себя в комнате ее мать. Судя по странным рассказам и намекам, Веру не миновал там какой-то соблазн… Летом 1948 года ей полагался отпуск, и она вышла наружу, поехала с матерью в дом отдыха на станции Правда по Ярославской железной дороге. В один серенький денек прогуливалась мимо дач. К ней подошли… Увезли. Обвинения серьезные — в шпионаже и прочем.

Мы неизбежно должны были сблизиться на своем уровне, Вера заставила меня вновь окунуться в культуру. Я могу читать по-норвежски, но говорить не умею, она обрадовалась, стала меня учить (я тоже люблю скандинавскую литературу, это во мне шведские гены Эвертов). По вечерам мы с ней прохаживаемся вдоль стены и делимс всем, что знаем, и тем, что воображаем. У нее незаурядный мужской ум и причудливая фантазия, сочиняет романы и стихи; творчество ее тяжеловесно, как тело, оно все «от гекзаметра», академично и эпично. Днем Вера неподвижно сидит на кровати, сложив руки на животе, и отсутствует — молится, думает, вспоминает. Характер у нее медлительный, насмешливый, надменный: Сабиху и Машу называет «афками», обезьянками (от немецкого Affe), это меня возмущает.

В таком высокоинтеллектуальном общении мы провели целых три месяца, пока Веру не вызвали с вещами — на двадцать лет в Караганду… Об этом я узнала после, а тогда она исчезла вмиг и без следа.

Царская тюрьма, каторга и ссылка… Политический заключенный… Стойкий борец за идею, готовый умереть за народное счастье… В глазах русского общества его образ был освящен нимбом мученичества и героизма со времен декабристов и доныне. Как черное от белого, как минус от плюса отличается презренный узник Лубянки от героя Петропавловской крепости: он даже не «политический» вовсе (таких в СССР нет), его статья 58 входит в уголовный кодекс. У нас нет идей, мы не боремся ни за, ни против, мы — враги народа, отверженные советским обществом и государством гнусные «контры». Мы сами не знаем, кто мы такие, аполитичные обыватели, без разбора схваченная спрутом рыбешка, лишь пена на гребне девятого вала. Однажды послышалось за стеной: тук, тук, тук… тук… тук-тук. Но мы не умеем перестукиваться, это дело опытных

заключенных. Алла тихо напевает модный романс Александровича «Скажите, девушки, подружке вашей»; Машка тянет тюремную песню «Сестра любимая, родная, милая»; существует местный фольклор, переходящий из камеры в камеру, от смены к смене, но в нем нет высоких слов о политике. Тех, кто совершил «настоящие» преступления, мы, женщины из 19-й камеры, не встречаем, они где-то в глубинах и на дне, там их обвивают и душат кошмарные щупальца. Ночью слышим изредка животные крики снизу и съеживаемся в постели — как бы и нам туда не угодить… Обсуждать, объяснять это опасно — никто не доверяет никому, боятся. Кто они, те люди? Мы не знаем, все здесь совершенно секретно. Бывшие члены ЦК? Может быть, захудалые монархисты? О масштабах нравственных и физических страданий в подземельях МГБ все узнали через сорок лет.

В самое темное время опять приснился символический сон. Я, уменьшенная, как Алиса в стране чудес, стою у входа в узкую серую комнату. Ее до потолка заполняет колоссальная женская фигура в серой тунике до пят, со строгими складками — не то статуя, не то живая… Серые волосы, стальные серые глаза, суровое лицо. Мне страшно, падаю ниц. Она правой рукой указывает направо вниз. Крошечная дверца. Выхожу, несколько ступенек, еще дверь, открываю — в ослепительный весенний вечер! Лукоморье, дубовая роща, ярко-зеленые лужайки. На чистейшем опаловом небе сияет молодой месяц. Иду во сне, как во сне, без веса и плоти по краю безбрежного озера или моря. Все. Это ликование нельз выразить словами.

Проснулась — и сразу: «Все будет хорошо».

Зотов стал вызывать на допрос очень редко: спрашивать больше не о чем. Он прочитал двадцать две тетради моего дневника, в котором ни слова о политике, изучил адреса и телефоны друзей и знакомых, двух-трех вызвал в качестве свидетелей (к счастью, никто из них не сел), по два-три часа слушал мой треп, выпотрошил из меня все содержимое разума, изнасиловал душу, знает меня насквозь и даже глубже. Я теперь до дна опустошенная консервная банка. Зотов совсем уже не злится, болтает о посторонних вещах, скрипит пером, а я сижу и смотрю в окно на гадких голубей. Иногда он при мне звонит своим приятелям, сговариваются ехать на стадион, вероятно, чтобы вызвать зависть, — если б он знал, что мне наплевать на эти футбольные страсти, до того к ним равнодушна. Он, конечно, болеет за «Динамо», а я притворяюсь, что интересуюсь, кто кого. Напротив, арестанты рады, когда следователи едут на Большой футбол: допрашивают кое-как и быстро отсылают в камеру.

Скорее бы кончилось это Дело No ! Несмотря на то что понятия *МГБ* и *суд* несовместимы, даже здесь разобрались в этом уголовном деле и сняли с меня все лишние статьи, кроме 58-10 (разговоры) и 58-11 (групповая агитация, то есть мама и Толя). Размышляя от нечего делать, я пришла к выводу, что вряд ли за это расстреляют и, пожалуй, не дадут 25 лет. Прошло семь месяцев, осточертело тупое безделье, и вся тюрьма как абсурд.

Галя Автухова вошла к нам в начале марта, прелестная девятнадцатилетняя женщина в коричневом с золотинкой манто из меха выдры, с бледно-оранжевым шарфиком на шее. Вьющиеся каштановые волосы, глаза персидской миниатюры и сочный округлый рот; уже осунулись нежные щеки, на них следы слез... Испуганно смотрит на нас. История самая банальная: ее встретил в кино советник турецкого посольства и не только влюбился — полюбил с первого взгляда. Он так вежливо и прилично познакомился после сеанса, что Галя не побоялась выйти рядом с ним из кино на улицу. Они стали встречаться. Али Бенкаи сделал ей предложение — посоветовались с матерью, она дала согласие. До оформления очень сложного брака советской девушки с мусульманином-дипломатом он содержал ее в посольстве как принцессу: хризантемы, вино, щербет, ананасы... подарил манто и кольцо с рубином. Однако ему надо было уехать на неделю по делам. По всем правилам тысячи и одной ночи она дает ему слово, что не выйдет на улицу, и нарушает его — захотелось проститься с матерью и с Москвой. И, как полагается в сказке, джинны похитили ее. Они давно выслеживали принцессу и запрятали ее в темницу. Это случилось сегодня. Галя так потерянна, что не может даже рыдать, шепчет: «Ах, что я натворила! Я сама погубила свое счастье! Я его люблю!»

Уже поздно. Мы легли спать, а через четверть часа ее вызвали на допрос. Еще одно тяжкое преступление, угрожающее безопасности Великой Державы.

Отраженный каким-то окном луч Солнца проскользнул на минуту в щель между намордником и рамой. Поднимаю к нему руки и вижу на просвет свою живую красную кровь. Луч проникает в сознание — да ведь я живу! По-настоящему в настоящем. Как росток пшеницы из мертвого тела Осириса, во мне вдруг проросла вол к жизни. Первый с ней контакт. С этого дня я начала приводить в порядок внутренний хаос, растаскивать груды обломков крушения и расчищать строительную площадку.

Бутырки

В середине марта меня вызвали с вещами. Попрощалась с бедной Аллой, безнадежно застрявшей на Лубянке, с

неунывающей Машей и неутешной Галей. Неужели в лагерь? Увы, нет. Выдали рюкзак и быстро переправили в «воронке» (автофургоне для арестантов) в не менее знаменитые Бутырки. Приняли без формальностей и, не задерживая в боксе, отвели наверх. Осталось впечатление широкого холла и просторных серебристых лестниц. Камера похожа на горбатый сундучок: маленькая, узкая, со сводчатым потолком, под ним окошко в толще стены. Четыре кровати, посередине стол. И три человека.

Булыгина — троюродная племянница председателя II Государственной думы. Не первой молодости нервная изнеженная барыня с усталым лицом, с не утратившими следов окраски и завивки рыжеватыми волосами. Она зябко кутается в меховую накидку, ломаетс и дуется на всех; восклицает с надрывом: «Я невиновна! Подлец и негодяй, он предал меня… Я истеричка!» На нее донес любовник — провокатор, литератор и эстет Красовский. Соблазнял антисоветскими разговорами. Когда за ней пришли, каталась по полу и кричала на весь дом. Но почему-то ее жалобы не вызывают сочувствия.

Елизавета Ильинична (фамилию, к сожалению, не помню), шестидесяти пяти лет. Беспомощная, безрадостная тень. В 1940 году, когда медведь напал на мышь, ее единственный сын был взят на финскую войну. Сказа-ли — «пропал без вести», а на самом деле… отморозил руки и ноги так, что их ампутировали под корень: его четвертовали и вместе с другими обрубками убрали с глаз долой — запрятали в особый интернат, в глушь арзамасских лесов (остряки тогда шутили: мы страна принудительного оптимизма). Мать, не зная о его состоянии, чудом пробралась туда, увидела его и упала в обморок. Во время войны с немцами муж Елизаветы Ильиничны, старый, давно обрусевший немец, был арестован за свою фамилию (Кауфман, что-то вроде того). Бездомная жена скиталась по знакомым, пока ее не приютил на даче Курилко, известный художник-декоратор Большого театра. Там она занималась хозяйством, но, тревожась за мужа, неосторожно поехала в Москву что-нибудь узнать — ее сейчас же схватили. Следователь беспощадный. Прозвал «махровой вражиной», глушит матом, бьет по щекам, плюет в лицо. Елизавета Ильинична возвращается в камеру, шатаясь, падает в слезах на койку, ей дурно… Мы утешаем, гладим ее, вызываем медсестру. Пронизывающая жалость колет сердце: хрупкое тело, морщинистые руки, поникшая седая голова и страдальческий взгляд. За что?!

Хильма Аахонен — финка, высокая, спортивного типа девушка двадцати лет. Светло-соломенные короткие волосы, еще розовый цвет лица. На ней синий с белым свитер и хорошо сшитые синие брюки. Невозмутимый

характер: ее ничто не волнует, ни на что не жалуется, вообще молчалива и говорит по-русски с акцентом. А вот ее преступление: рискнула вместе с одним эстонцем переплыть из Таллинна в Хельсинки на рыбачьей лодке. Пограничники поймали их в заливе. Обвиняют в измене Родине, хотя родилась она в Финляндии, а в Эстонии оказалась случайно после войны.

…Это случилось в середине июля. Неожиданно вызвали на выход без вещей и отвезли на Лубянку. Зотов отвел к прокурору. Массивный барин, расхаживая по роскошному ковру в обширном кабинете с картинами и портьерами, прочитал мне какой-то юридический акт и устное нравоучение. Я сказала: «Больше не буду!» Зотов поздравил с окончанием дела и предложил попросить что-нибудь на прощание. Я сказала: «Если хотите вернуть меня в жизнь, пошлите куда-нибудь в лес. Хочу перековаться и буду хорошо работать». Он обещал исполнить эту просьбу и по-товарищески расстался со мной. «Прощай и помни обо мне» (Шекспир).

В Бутырках перевели меня вниз, в большую камеру, где ждали приговора двадцать разнокалиберных женщин. Там еще две недели. И вот опять вызвали куда-то, посадили ненадолго в бокс. Обдумывала все спокойно: будь что будет. Привели в чей-то кабинет, кто-то сказал, что я осуждена ОСО на десять лет ИТК по статье 58-10. Что-то я подписала и через пять минут оказалась в камере и ощутила облегчение: все-таки не расстрел и не 25. Я принимаю все это как заслуженную кару за mea culpa mea maxima culpa[1]. Дальнейшее зависит от меня. Впереди — vita nuova.

Еще два дня, и наконец вызвали с вещами, отдали все, кроме кольца, паспорта и денег, и выпроводили из тюрьмы. Первая сери детектива кончилась, что покажут во второй? Еду в «воронке» рядом с двумя мужчинами. Высадили в коротком переулочке за Большой Переяславской улицей, выходящем на запасные пути. 26 июля 1950 года. Часа четыре дня. Тепло и ясно. Свежий воздух. Тихо. Беленький особняк. Вокруг никого нет, сторожит один солдат. С робкой оглядкой на мир делаю два-три шага, расправляю ноги и руки. Стою. Странное состояние: отчужденно, как во сне, и вместе с тем очень ярко, реально наяву. Через полчаса, шагая через множество рельсов, подошли к одинокому «столыпинскому» вагону; обыкновенный жесткий, но с решетками на окнах и сеткой вдоль коридора; новоокрашенные полки. Меня поместили в отдельное купе — опять одна! Точно так же, как в начале этого рокового путешествия. Смотрю в окно на блестящие рельсы, ломаную линию домов и заходящее за них Солнце. Москва… прощай, может быть, навсегда? Ни тоски, ни страха нет, внутри — только настоящее, вне — скоро будет новизна!

Пересылки

Ровно через год опять еду в пустом вагоне, путешествие продолжается, да не туда… А куда? Не знаю. Летнее утро. Вижу синее небо, клочья облаков, зеленые рощи и луга, пестрых людей — краски радуют глаз, но ни внешней, ни внутренней связи с ними нет. Правда, и тоски той нет. За сеткой ходит взад и вперед солдат в синей фуражке МГБ. Спустилась и перебрала свой старенький рюкзачок: все вещи слежались, но целы. Вынула зеркальце, напудрила нос. Не видела себ год — не то лицо, и выражение другое: пополнела, поглупела — вроде я не я. Думать ни о чем не хочется, ни прошлого, ни будущего, ни прежнего «ego» нет — я подобна функции, возникшей на волне мирового Творчества из нуля.

Прибыли в город Горький часов в пять. Высадив, погнали несколько человек вдоль железнодорожной линии к машине. Иду, смотрю на шпалы, вагоны, деревья, дома — все это по-прежнему существует, но как бы за невидимой стеной, связующая с миром личность во мне искоренена.

Привезли в кирпичную тюрьму второго сорта, после комфортабельной Лубянки она показалась мне старой, бедной и грязноватой. И кормят похуже: кислые, как уксус, щи, невкусная каша из магара, поддельный чай как вода. В довольно тесной и темной камере меня радушно встретили две женщины — познакомились, поели, и я тут же завалилась спать на голые доски — ведь все кончено! Больше никаких допросов!

Везломцева — степенная пожилая ткачиха, ударница, активистка. Простое русское лицо, гладкая прическа, на затылке закручен хвостик; острый недоверчивый взгляд и самодовольно поджатые губы — такие лица часто встречаются в газетах на снимках передовиков производства. Все в порядке, но почему же она здесь?! Ее муж, потомственный рабочий и старый большевик, чересчур едко покритиковал на партсобрании директора завода и вскоре сел по 58-й. Вне себя от обиды, жена заступилась за него и вскоре последовала за ним. Везломцева не теряет собственного достоинства, у нее непререкаемые мнения — она приписывает все это мести директора и произволу городских властей, не соотнося с политикой в верхах. Она грозит: «Вот кабы знал товарищ Сталин… да нешто ему до нас, поважнее дел по горло. А я, как выйду отседа, непременно ему жалобу напишу, нехай товарищ директор сам щей пустых в тюряге похлебает». Блажен, кто верует…

Жен Панченко — стройная молодая женщина южнорусского типа. У нее тонкая талия и покатые плечи; ее длинное лицо после многих лишений приняло желтоватый оттенок;

печальные черные глаза с поволокой и чутко-настороженная посадка головы, чуть оттянутой весом темных густых волос, придают сходство с оленем. Она почему-то с первого дня полюбила меня, и мы надолго подружились. Как-то раз, сид рядышком на койке, разговорились, и Женя поведала мне все, что с ней произошло.

Она родилась в 1925 году в городе Сумы на Украине в семье агронома. Окончив восемь классов, поступила в фармацевтический техникум, но тут налетела война и оторвала ее от семьи. Немцы угнали Женю в Германию на военный завод. Чем больше работали, тем хуже кормили. Перед самым концом четыре девушки сбежали навстречу нашим войскам. В громовые дни взятия Берлина Женя вдвоем с подругой пряталась в подвале разрушенного дома, двое суток не ели, воду пили из лужи на полу. Когда затихла адская бомбежка, девушки вышли и, едва стоя на ногах, явились в советскую комендатуру. Женя умоляла отпустить ее домой в Ростов к маме, — нет. Нельзя. Раз работала на фашистов, надо проверить. Она знала немецкий язык, ее взяли переводчицей на ответственную работу, и скромная девушка невольно стала свидетелем одного исторического факта. Приведу отрывок из ее письма от 1992 года:

«…Я несколько лет должна была работать в органах в Берлине после войны. До 1946 года в Германии были две партии — социал-демократы и коммунисты. Сталину захотелось одну. Как это сделали? Было это в Бернау, одном из районов Большого Берлина. Там находился Отдел агитации и пропаганды для немецкого населения, в котором я тогда работала переводчиком. В этом отделе человек 5-6 наших офицеров, фамилий их не помню, давно это было. Майор Леонид Колос, москвич, хорошо играл на рояле и пел, аккомпанируя сам себе. Жену его звали Маша, она еврейка. Веселый был отдел у нас, мы все были молодые, война кончилась, столько хорошего впереди. Однажды были приглашены в гости к майору партийные работники немцы. Из женщин я была одна. Дали очень сытный обед, много мяса и сосисок с капустой, любимое кушанье немцев, и много-много пива, а время было голодное после войны. Потом немцы подписали все, что их просили, и получилась СЕПГ, которая существовала, пока не была сломана стена в Берлине…»

(Я попросила Женю написать мне об этом через сорок шесть лет, забыв некоторые детали, а тогда, в горьковской тюрьме, она утверждала, что в стельку пьяные немцы не вполне сознавали, какой важный договор подписывают на этом пиру, и что их нарочно напоили с этой целью. Она не умеет лгать и сочинять, вероятно, это правда, но требует серьезной проверки.)

На работе Женя познакомилась с мужественным волевым офицером Григорием, фамилию которого не назвала. Он был очарован ее женственностью и кротким характером, полюбил крепко и глубоко. Дальше, как в кино, замелькали кадры.

Первая серия: цветы, подарки, танцы, катание на мотоцикле. Женя была одинока, нуждалась в защите от приставания мужчин и поддалась его чувству… Они сошлись в лесу под Берлином. Григорий немедленно сделал предложение, но командование не разрешило ему жениться на бывшей военнопленной. Он продолжает встречаться с ней — его переводят в Потсдам. Он хлопочет о разрешении на брак, ему отказывают вторично и в третий раз. Он бывает у нее каждый день, запрет подогревает страсть. Его отсылают в полк за 120 километров, он ездит в Берлин на мотоцикле. Ему грозят исключением из партии, увольнением из армии — разъяренный Григорий бросает все и уходит в Западный Берлин.

Вторая серия: через две недели к Жене приходят два немца «оттуда», сообщают, что Григорий ждет и готовится к свадьбе; они предлагают надежно переправить ее «туда». Она мучительно колеблется и отказывается уйти с ними — знает, что за это арестуют ее мать и сестру в далеком Ростове-на-Дону. Немцы уходят ни с чем.

Финал: через три дня Женю посадили в гитлеровскую тюрьму Моабит. Зверски допрашивают и пытают — ставят на сутки босиком в одной рубашке в холодный бокс. Она теряет сознание. После сознаётся во всем, чего не было, хотя действительно не знала, что Григорий решил бежать. Ей не верят, бьют, отправляют под стражей в СССР и дают 10 лет по статье 58-1а за измену Родине и шпионаж, — и вот она сидит рядом со мной и плачет.

Прошло еще двадцать два скучных дня, одинаковых, как две капли воды, и меня вызвали на этап. Мы с Женей обнялись и поцеловались. Я оставила ей адрес тети Любы в Москве, она мне — своей мамы в Ростове.

На вокзал мен везли в «воронке» вместе с бывшей коммунисткой, получившей пять лет за то, что спрятала на память револьвер покойного мужа-офицера, отличившегося в бою, — припаяли ей статью «терроризм». Эта невысокая, тверда блондинка еще не смирилась, ее тонкие губы зло сжаты, в глазах блестит холодный гнев. Я заметила, что такие люди всё переносят хуже, чем мы, беспартийное быдло, покорно несущее бремя своего грешного класса. Пасмурно, мрачно. На вокзале мимоходом трагикомичная сценка: плюгавый парень в расстегнутой рубахе и рваных носках бьется на полу, дрыгая ногами, ревет и причитает,

как баба, из-за того, что отняли краденые сапоги. Милиционеры подняли за шиворот, заломили ему руки за спину и, грубо толкая, куда-то увели. Наблюдаю с любопытством, так как в первый раз вижу мужские слезы.

Общий вагон уже занят уголовным элементом. Я не умею спать сидя, а не выспавшись, теряю силу: залезла на багажную полку, удобно и безопасно; лежа на спине, вспоминаю: так же ехала из Самарканда в Москву, когда началась война в Европе. Внизу всю ночь галдеж, визг и гогот, дурацкие реплики, мат. Не теряя бдительности, чутко спала до утра. Прибыли в Киров (бывшую и будущую Вятку). Значит, в Вятлаг?

Тиски чуть-чуть разжались: мы, несколько человек, непринужденно сидим на траве около станции, болтаем и разгуливаем на расстоянии до пятидесяти шагов. Я посмела спуститься к насыпи, потрогала куст, сорвала ромашку. Сложна встреча с утраченной природой, удивительными кажутся самые простые вещи, и трудно восстановить с ними родственную связь. Кировская тюрьма окружена большим светлым садом, вокруг много цветов, поют птицы. Меня оставили снаружи за дверью конторы, пока оформляли документы. Стою смирно, смотрю на розовые мальвы и ярко-оранжевые ноготки, не веря своим глазам, — шевельнулось что-то в душе, оттаивать начинаю... Никогда не увижу я далекие моря моей мечты, прощай, остров Бали! Надо вычеркнуть их из жизни — она интересна повсюду. Сама тюрьма здесь не очень казенная, деревянная, низкая. Камера — квадрат со сплошными нарами в два этажа; окно широкое без намордника, с легкой решеткой, под ним крапива, лебеда и лопухи, из него вид вдаль на чистое поле.

В камере двадцать человек пестрого набора: растратчицы с конфискацией имущества и продавщицы с недостачами; сестра маршала Говорова; племянница известного путешественника писателя Саркисова-Серазини; учительница музыки; фотокорреспондентка, нечаянно снявшая что-то секретное; эстонки и латышки, осужденные за работу при немцах, и тому подобный «сброд». Говорова любит говорить и слушать, обменялись своими историями (ее и посадили за разговоры); в день моего рождения она угостила меня мятным пряником. Льет дождь, смотрю в окно на серое небо и мокрую траву — насколько это лучше, чем в прошлом году на Лубянке! Статику сменила динамика, впереди нечто совсем новое, интересно... Через неделю впустили к нам Женю Панченко. Потеснившись, я уложила ее рядом с собой на нарах, наговорились вдоволь, — вот и в этом новейшем мире появились старые друзья. Увы, через три дня ее отправили. Я пробыла в Кирове одиннадцать дней, потом и меня отправили дальше.

В четырехместное купе запихали шестнадцать человек обоего пола. Я ворвалась одной из первых и села на хорошее место у окна, слева навалились урки и прижали к стене. Обыскали карманы, ничего не нашли и отвязались от меня. Встать и выйти — значит потерять это место, нельзя; решила не пить и не есть всю дорогу. Сосу воблу с черным сухарем, чтобы не мутило от голода. Прислушиваясь и приглядываясь к блатным, убеждаюсь, что они инфантильны, сентиментальны и сексуальны; не признавая государственные законы, строго соблюдают свои собственные: «вор в законе» — почетный гражданин преступного мира. Двойственно их отношение к собственности: жаждут ее приобретать, а имея, не жалеют расставаться. Впрочем, все это давно знают криминалисты, а встречаю воочию впервые. За окном плывут мимо низкие болотистые места, хилые елочки и березки. Миновали Котельнич, Пижму и Ветлужскую… отсюда сказочный путь на град Китеж — озеро Светлояр… Здесь прятались в чащах скиты Мельникова-Печерского… Сейчас вылезти бы — и туда… Но мимо, мимо. Часа в три на узловой станции Яр поезд круто свернул на север. Голая равнина, редкий лес, сырой и неприятный. Моросит дождь, и даже в вагоне с пятнадцатью ворами кажется уютно. Про станции Сухобезводная и Буреполом они рассказывают ужасы — там строгорежимные лагеря и убийственный климат; боятся, что высадят здесь, но, к счастью, пронесло мимо. Дальше… Вечером прибыли в запретную страну Кай, на границу архипелага по имени Вятлаг.

Выйд из вагона, потянулась и почувствовала голод и жажду. Привели, сосчитали, накормили и напоили. Направили в барак вместе с тремя блатными девками и с маленькой черноглазой украинкой лет двадцати, сочной и румяной, как вишенка. Еще недавно была она счастливой женой молодого хозяина в зажиточном полтавском селе, матерью двухлетнего сынка — и вдруг взяли ее Иванку, через два дня ее, зачем — не понимает. Напугана донельзя, ищет у меня сочувствия и защиты.

Барак огромный и пустой, в середине висит одна тусклая лампочка, везде полумрак. Рядом за стеной заперты воры, тридцать пять матерых рецидивистов. Наглая трепаная девка заявила угрожающим тоном: «Эй вы, контры, слушайте, ночью к нам придут пацаны, трое наших, — стукнете конвою, вам хана — позовем всю банду, употребят вас по очереди. Не будете подглядывать, заткнетесь — наши не тронут». Мы поклялись молчать. Забились в угол, свернулись на досках, прижавшись как два котенка. У меня с собой широкий длинный плащ-накидка с капюшоном, сшитый мною из серебристой авиаткани, совсем непромокаемой и невесомой, — обе накрылись им с головой и замерли. Я окружила своим телом сжавшуюся в комочек

Вишенку; все-таки немножко задремали. Вероятно, в час или в два ночи послышался треск. Я выглянула в щелочку из-под плаща — на той стороне у стены приподнимается половица… вылезает до пояса парень, осматривается, ловко, бесшумно подтягивается и проникает в барак, скользит на тот конец. За ним другой так же… С ужасом думаю: а вдруг все тридцать пять? Вылез третий вор и прикрыл за собой половицу. Немножко отлегло. Они забрались к своим девкам и стали бурно спариваться с ними. Утром конвой допрашивал всех: и девки, и мы сдержали слово — ничего не видели, не слышали, не сказали. Это была самая жуткая ночь в моей жизни.

Два дня почти нормального быта: люди не сидят взаперти, не ходят на поводке, а гуляют по территории этого преддверия Вятлага. Двор и сад, деревянный дом для начальства, на отлете барак, где мы провели эту ночь. И наконец-то — теплая чистая баня, выдали мыло. Едим на площадке в саду: длинный стол и скамьи, на нем стопки алюминиевых мисок и ящик с ложками. Котел приносят и ставят на печь. Мне предложили, не приказали, разливать суп всей команде, началась полезная работа. Наскучавшись по ней за год бессмысленного безделья, я вызвалась расчистить начальнику дорожки в саду: с удовольствием подрезала траву острой лопатой, выровняла по шнуру, посыпала песком — совсем как на даче. Тихое серое небо, терпкий осенний воздух с дымком, желтые березы, все так знакомо, так мило, что стало вдруг совсем легко на душе — очистилась до дна! Вечером Солнце выглянуло из-под тучи над самым горизонтом. Я стою у высокого забора из тонких необструганных жердей, ярко освещенных золотисто-рыжим закатом. За забором протопала бригада рабочих, кто-то захохотал; пролетела стайка синиц; залаяли где-то разными голосами две собаки. Тут во мне в первый раз ожили чувства и настроения, вернулось осознание сегодняшнего дня, 5 сентября 1950 года.

На третий день загнали в товарный вагон всех мужчин — тридцать пять рецидивистов и шесть «политических» интеллигентов, а также шесть женщин: трех девок, Вишенку и меня. На ней серое платье и черный платок, ей советуют повязаться по-старушечьи, закрыть свое миловидное личико до глаз, чтобы не заметили блатные. Мы сели на пол у стены, спереди плотно встали рядом 58-е: два врача, один юрист и три инженера. Все оказались джентльменами, скрыли, заслонили собой от… Блатные расселись на корточках, разлеглись на полу, заняв весь вагон, в нем творится черт знает что: жрут хлеб с селедкой, курят, курят до одури, харкают, плюют и чудовищно матерятся. Таскают за руки трех проституток, передают их через головы друг другу и «употребляют» у всех на глазах. В одном углу дыра, заменяющая «туалет», над ней

бородатый старый пахан (вожак банды) совершает coitus с тринадцатилетней девчонкой в матроске и коротенькой юбке, с краденым малиновым бантиком на желтых вихрах. Усмехнувшись, вспоминаю свои беседы с Э. М. о синестезии в искусстве, об Эдде, о Рильке и Родене… У контрастов особенный вкус, люблю острые приправы, но все же и мне страшновато, прячу лицо в колени, хотя мне тридцать девять лет и я не блещу красотой. Два солдата с винтовками стоят снаружи в тамбуре и болтают, не обращая внимания на все, что делается в вагоне.

Так ехали мы часа четыре вглубь Вятлага, за девяносто километров на станцию Гидаево — последний пункт распределения рабочей силы по местам.

Не совсем на дне

(Воспоминания о Вятлаге, 1950-1955)

Шестая подкомандировка

Начало новой жизни: ясное сентябрьское утро, светло, свежо. Идем пешком туда, где будем жить и работать, идем по равнине с пнями, потом по дороге через лес. Не маршируем, идем вольно, вразброд. Женщины шагают, согнувшись под тяжестью чемоданов и узлов, задыхаются и ноют. Хорошо, что меня задержали в пути, — лишь строгий минимум на спине. Сзади плетется равнодушный конвоир. В еловой чаще ярко желтеют отдельные березы. Я оживаю после прокуренных камер и тесных дворов, глубоко до дна вдыхаю совершенно чистый воздух: ноги набирают прежнюю силу, как в турпоходе, глаза видят рядом родные травы: облетевший иван-чай, бледные сухие метелки, мать-и-мачеху, пырей… Вопреки все- му — гибели прошлого, разлуке с мамой, утрате всего, кроме жизни (или именно оттого?), — мне весело: начнем с нуля! Следователь Зотов исполнил свое обещание, отправил меня в лес, я исполню свое: перекуюсь.

Прошли километра четыре, встали у деревянных ворот, похожих на въезд в древнерусскую крепость, обнесенную частоколом. Нас пересчитали по списку и открыли врата, прогнали стадо через вахту, снова пересчитали и распустили — невероятно, — иди куда хочешь. Кто-то налетел на меня и стиснул в объятиях — Женя Панченко! Она здесь уже полторы недели. Сразу начала заботиться обо мне — принесла мешок, мы набили его сеном и отнесли в барак, темноватый и низкий. Посередине длинный стол и скамьи, по бокам четырехместные деревянные «вагонки», между ними тумбочки для мелочей. Людей нет, все на работе. Я выбрала свободное место наверху, закинула туда

сенник, и мы с Женей пошли на склад. Мне выдали постель: мягкое байковое одеяло, подушку, наволочку, простыню и полотенце, а также одежду: голубую майку, лиловые трикотажные штаны до колен, черное платье с пояском, синюю косынку и черные чулки с белыми портянками; кроме того, стеганую телогрейку, ватные брюки второго срока и грубые, грузные ботинки из кожзаменителя, смазанные солидолом. Все белье отмечено несмываемой печатью ИТК. Вернувшись с грудой вещей в барак, тут же переоделась в казенное, дабы не смешить народ своим шотландским пальто и летней панамой. Все личное сдала в каптерку, кроме теплого ярко-зеленого свитера, своей простыни и крошечной «думки», сшитой мамиными руками. Пошли в столовую, сытно пообедали — хлеб, щи да каша. Нагулявшись с Женей, я решила выспатьс днем и ночью, постелила постель, растянулась на душистом сеннике, накрылась своей простыней и светло-сиреневым одеялом. Неужели никуда больше не надо ехать? Наконец-то я «дома».

Этот далекий островок архипелага Вятлаг называется Шестая подкомандировка, сюда направляют новеньких, чтобы проверить их трудоспособность и поведение. Территория невелика: всего два барака, столова с кухней, баня и контора. Вокруг зоны стеной стоит еловый лес, в ней трава и пни, валяются стружки — лагпункт построен совсем недавно. Режим не строгий. Подъем в шесть утра, отбой в десять вечера, восьмичасовой рабочий день, с двенадцати до часу обеденный перерыв; съём обычно в пять. Еда три раза в день — завтрак, обед и ужин (одинаковые, суп и второе). Поддельный чай и черный хлеб, кипяток всегда есть в титане в каждом бараке; раз в месяц выдают сахар. После работы каждый может делать в зоне что хочет: гулять, шить, стирать, болтать или спать.

Утром новоприбывших вызвали в комнату при вахте на *комиссовку*. Трое — один военный, один в штатском и полная белокурая жен- щина-врач — задают вопросы: «Как зовут? Возраст? Откуда родом? Как здоровье? Что умеешь делать?» Раздели и осмотрели. Я зачем-то слишком расхвасталась своим здоровьем, и мне дали первую категорию — ТФТ (тяжелый физический труд). На другой день пришлось таскать шпалы под дождем своими тонкими руками — не справилась с нормой (ослабла после года безделья, сидя без воздуха в тюрьме). Выдохлась и взмолилась перевести во вторую категорию — ЛФТ (легкий физический труд). Перевели.

В семь часов утра здесь еще ночь. Приключенческий фильм: скачем верхом на неоседланных лошадях, держась за гриву, мимо пылающих костров. Впереди на фоне тьмы чернеют контуры леса. Все как во сне, но я ощущаю терпкий вкус

подлинной жизни, утверждаю себя наяву, и возбуждение переходит в дикую мужскую радость.

Мы соскочили на голую осеннюю землю. Кругом гладкие стволы стройных сосен и кусты. Бригадир отмеривает делянки, раздает нам луч- ки — до отказа натянутые на изогнутые рамы тонкие пилы. И вот я, осужденный неизвестно за что преступник, вхожу в священный лес с оружием в руках и совершаю первое настоящее преступление — братоубийство. Глубинное мистическое родство связывает меня с диким лесом, с детства я люблю и уважаю деревья как живые существа, а вот здесь по воле зла вкалываю топор в сильное, здоровое тело сосны и на высоте около шестидесяти сантиметров вырубаю неглубокую выемку с плоским дном; обхожу и немного повыше сзади внедряю в кору пилу. Острый лучок легко скользит туда-обратно, хищно въедаясь в живое тело; остаетс хрупкая перемычка, и я прикладываю грешные ладони к стволу, осязаю внутри шаткость, изо всех сил пихаю его вперед, отскакиваю вбок. Краткий треск — и убитое дерево плавно, гордо падает на ломкий мелкорост, круша его своими роскошными ветвями… Сажусь на землю, сжимаюсь в ком; уткнув лицо в колени, едва сдерживаю душевную боль: прости… прости, природа… прости подлого раба, прекрасное дерево, — не хватило воли отказаться и потерпеть за тебя, заставили сделать зло своими руками… Однако встаю, обрубаю ветки, благоухающие сочной мохнатой хвоей, волоку их на костер. Так тружусь целый день и выполняю норму — один кубометр на одного рабочего женского пола. Через месяц совесть с грехом пополам загрубела и возникло производственное отношение к лесу, но я поклялась: если буду на воле, не причиню зла ни одному дереву и посажу свои.

На Шестой подкомандировке 75% «указников», то есть осужденных по какому-то указу, это растратчицы — бухгалтеры, кассирши, продавщицы и спекулянтки. 15% — уголовные, 10% — мелкие контры. Об отвлеченном и серьезном поговорить не с кем, здесь тоже все кажется абсурдом. По вечерам в бараке шумят и ругаются, рассказывают ужасы, пошлости и глупости. Я не знала, что уровень обывателя так низок — есть же у нас средняя школа, комсомол, политпросвет… Поразительно отсутствие знаний и стремления к ним, вопиющее невежество, суеверие и сквернословие. До сих пор в этой среде живы глупейшие предрассудки, бабы верят в нечисть, гадание, сглаз. Почти все помешаны на сексе: лишенные права удовлетворять свои половые потребности нормальным путем, они прибегают к извращениям и онанизму, в нашем бараке три пары лесбиянок. Уши вянут от похабных выражений, сплошной матерщины. Недавно в лагерях строго отделили мужчин от женщин — а лучше ли стало? Honny soit qui mal y

pense[1]... Основной лагерный закон: не вмешивайся в чужие дела!

Нечего скрывать — не всегда у меня хорошее настроение. Бывают минорные срывы, налетает тоска, мучает тревога за маму. Где-то она теперь? Как перенесла все это, уже старая (68 лет), маленькая, худенькая, с таким самолюбивым, непокорным нравом? Прямая переписка из лагеря в лагерь запрещена. Я пишу одно письмо в месяц — коротко и ясно о себе в розовых тонах: тете Любе в Москву, она пересылает маме в Кемеровскую область, в Мариинск, в лагерь с оригинальным названием «Антибес» (антибес или Cape d'Antibes[2]?). До сих пор от мамы нет ни слова.

Иногда я ощущаю себя на краю света, навсегда вычеркнутой из культуры, от которой сама решила отречься. Лишь один-единственный раз, сидя в пустой столовой, вдруг заплакала от тоски по маме, папе, нашей квартире, по моим книгам и всем нашим вещам — в первый и последний раз. Повариха заметила из кухни, вынесла мне горячий пирожок с капустой (печет для начальства). Я поцеловала ее в щеку и нарисовала ей хорошенькую открытку. Это был нечаянный срыв. Я отогнала все чувства прочь и занялась изучением окружающей меня необыкновенной действительности.

Через месяц перевели меня в зону: срочно понадобилось выпустить номер стенгазеты к 33-летию Великого Октября. Нетрудно, но как? Ничего нет. Ни бумаги, ни красок, ни инструментов. Сделай сам! Достала на складе мятый лист оберточной бумаги, намочила, разгладила на столе. Обстругав в кухне длинную лучину, нанесла на ней сантиметры. В конторе дали синий с красным карандаш, перо, чернила и клей. Наладив технику, обошла бараки в поисках корреспондентов — одни обругали, другие дали слащавые заметки, полные грамматических и всяких ошибок. Исправив их, сама намахала стандартную передовицу и переписала все набело на полоски, выкроенные из школьной тетради. Самое главное — шапка: портрет божественного Вождя, выдранный из старого журнала, разукрашенный красными флагами с синими лаврами, и название ЛЕСОРУБ. Под шапкой четыре восторженных столбца («Ave, Caesar, morituri te salutant!»[1])? Заголовки и концовки. Номер прибила я в столовой трехдюймовыми гвоздями, а меня наградили куском вареного мяса с барского стола. Седьмого ноября не работали, валялись на нарах. Вечером кинопередвижка во втором бараке, духота и давка, смотрели сидя, стоя и лежа со всех сторон.

Лучше бы остатьс на лесоповале! Начальница КВЧ (культурно-воспитательной части) обратила мен в личное рабство в общем рабстве. У нее «ндрав» самодура из пьесы

Островского; поджарая особь с хитрыми глазками, то льстит, то попрекает, то просит, то изводит — я у нее на побегушках, а одна девчонка из блатных чешет ей пятки перед сном. Таков наш идейный руководитель, исправитель и воспитатель.

1951 год встретили вдвоем с Женей в восемь часов вечера в укромном уголке зоны. Единственный уличный фонарь отбрасывает издали голубой свет на снег; не холодно, только минус 5°. Мы сели на пни, расстелили на коленях полотенца, разделили кусок сала, четыре печенья и шесть конфет из ее посылки. Что же нам себе пожелать? Свободу? Вряд ли, это пустой звук. Женя воображает, что скоро опять будет война и «все это кончится» (до нас дошли слухи о какой-то «холодной войне», что такое, мы не знаем). Я не допускаю этой мысли, и мы поспорили — заключили пари на пять рублей сроком на десять лет. (Она, конечно, его проиграла и в 1961 году прислала мне пятерку в письме.) Поздравили друг друга и мысленно всех наших родных и друзей на воле, обнялись и поцеловались, обе в телогрейках с кружками полузамерзшей воды в руках.

Чешется голова, чешется тело — побежала к врачу. Она успокоила меня: это не чесотка, а вши. Я покраснела до ушей, пробормотала: «Рядом со мной спит лохматая грязная баба…» Меня сейчас же обработали в бане, постель и одежду в прожарке, я переселилась на пустую полку в углу.

Врач Елена Казимировна — полька, осужденная на двадцать лет за борьбу против раздела Польши между Гитлером и Сталиным в 1939 году. Гордая, замкнутая и привлекательная, эта женщина живет в отдельной комнате при санчасти; после приема переодевается в домашнее платье, готовит обед на керосинке. Она хорошо воспитана и образованна, любит порядок. Попросила меня сделать бордюр на желтых обоях своей комнаты. Я предложила греческий орнамент, вырезала трафарет и, стоя на стремянке, расписала широкую полоску коричневыми меандрами. Елена Казимировна была довольна и пригласила пообедать вместе с ней, угостила куриной лапшой и курицей с рисом (не ела такого полтора года). Я была растрогана и стеснялась сидеть за столом со скатертью и тарелками. О своем деле она молчит, не доверяет никому, в ее синих глазах таятся осторожность и грусть. А я охотно рассказала ей о своем романе с Кржижановским и увлечении польской литературой — ей было очень приятно поговорить об этом, о Г. Сенкевиче и Пшибышевском, о Стефане Жеромском и Юлиане Тувиме, а также о музыке, о Шопене… Если бы не вши, не отвели бы душу. Я стала бывать у нее после работы, и завязалась дружба, которой не суждено было окрепнуть: через месяц Елену Казимировну увезли ночью в Инту, мы не смогли даже проститься.

В конце марта в семь часов утра переполох — все собирайтесь с вещами на этап! Вспыхнула тревога: зачем? куда? А вдруг в Тайшет? На Колыму? Самые страшные места… Мы быстро сдали инвентарь, взяли свое в каптерке, суета, беготня. Кое-кто приобрел здесь лишнее имущество, тяжело тащить, что делать? Нанимают шестерок, готовых оказывать платные услуги. Уходя из барака, я отцепила от титана алюминиевую кружку, самый необходимый предмет, — вот и кража, начинаю морально падать (она служит мне до сих пор на даче и в походах)…

Нас посадили в теплушку, повезли обратно к югу и, к счастью, высадили через час на станции Верхнекамской, почти на границе Вятлага.

Прошли пять километров по тихой одноколейной ветке через густой лес и поле, остановились у ворот, обрамленных старыми березами. Синие лужицы, синие и белые пятна сквозь ветки и прутья, летящие облака, рассыпчатый щебет воробьев — alegretto ранней весны. Все понравилось с первого взгляда, и легкий шепот предчувствия подсказал: здесь будет хорошо.

Третий сельхоз

Третий сельхоз, то есть Третье подсобное хозяйство для снабжения Вятлага сельхозпродуктами, расположен в красивой холмистой местности в шести километрах от станции Верхнекамска Кайского района Кировской области. Зона (около двух га?) отделена не забором, а двумя рядами колючей проволоки с распаханной бровкой посередине. Со всех сторон видны поля, кустарники, леса. Летом почти вся площадь покрыта густой травой с полевыми цветами. Деревянные здания разбросаны несимметрично и далеко друг от друга, у ворот маленькая вахта; от них широкая, выложенна бревнами дорога ведет прямо к клубу, раздваивается перед ним и петлей окружает этот дом, похожий на старинную дачу с треугольным мезонином и двумя парами резных столбиков по фасаду. Посередине три ступеньки и больша дверь. Справа от дороги стоит длинная контора, перед ней рощица молодых берез, кусты и садовые цветы. В переднем правом углу изолятор — клеть дл провинившихся и отказчиков, в правом дальнем — избушка-баня. Вдали за клубом санчасть и служебные комнаты. Слева от дороги, на пригорке и внизу, торцом к ней стоят три барака, один совсем новый и два старых. Уборные отдельно от бараков — узкие сооружения с четырьмя дырами вдоль, обильно засыпанными хлоркой (в мороз на корточках долго не просидишь). Одна дл всех бараков сушилка, в ней испускают пар и кислый запах мокрые телогрейки, ватные брюки и бутсы.

Клуб — центр общественной жизни зоны. Сразу за дверью с улицы очень широкая столовая, в ней помещаются все бригады: составлено шесть рядов длинных столов, по бокам узкие скамьи. Против двери на другой стене широкое окно в кухню, через него выдают на подносы миски с едой. Столовая служит и зрительным залом: справа сцена с паддугой и двумя кулисами — здесь выступает самодеятельность, два-три раза в год приезжает с главного лагпункта центральная культбригада — ставит такие сложные спектакли, как «Любовь Яровая», оперетта «Сильва» и дает сборные концерты. Киномеханик бывает раз в неделю, экран вешают между дверями КВЧ; он привозит наши и трофейные фильмы, запрещенные на воле, например, немецкий «Трансвааль в огне» (нас нестрашно развратить, мы уже...). КВЧ занимает две комнаты слева от входа, в одной сидит начальник, в другой — библиотечка и «красный уголок».

Население Третьего сельхоза насчитывало в 1951 году около двухсот человек, из них 98% женщин и наперечет мужчин: слесарь, плотник, сапожник, водовоз, конторщик, гармонист и несколько рабочих (все они живут отдельно, вход в их половину барака за зоной). Выборочно в моем списке в числе пятидесяти лиц двадцать русских, семь украинок, шесть евреек, пять латышек, четыре эстонки, две болгарки, двое немцев (он и она), литовка, француженка, поляк и цыган. Возраст от шестнадцати до шестидесяти пяти лет. В целом же среди двухсот заключенных преобладают украинки и прибалты, сопротивлявшиеся присоединению к СССР.

Свободные граждане Советского Союза, или, как их тут зовут, «вольняшки», представляют собой администрацию и охрану лагпункта. Они живут за зоной в одноэтажных деревянных оштукатуренных домах с огородными участками, там же казарма конвоя. В зоне обычно присутствуют трое — начальник Третьего сельхоза Долгов, оперуполномоченный Поносов и начальник КВЧ Кривошеев. По углам ограды на башенках дежурят так называемые вертухаи, которым, вследствие мирности бабьего стада, нечего делать — наверное, спят от скуки. Ни одного случая побега. Ни одной драки. Ни одного крупного скандала. К вольняшкам положено обращаться «гражданин начальник», но на самом деле отношения не очень официальные, они не гнушаются нами. Никаких зверств при мне не было, никого не били и не оскорбляли, только упорных отказчиков от работы и воров за кражи сажали в изолятор на двести грамм хлеба и миску супа, ну и спать на досках. Подальше к югу от зоны ферма-конюшня, коровник на шестьдесят персон, телятник, свинарник, ветеринарный пункт, зернохранилище и мастерские. Большую площадь занимают парники с домиком агронома и сараем для утвари. Все содержится в

полном порядке, хозяйство дает хороший урожай и много продуктов.

Меня с ходу назначили художником и заведующей клубом. Выдали все вещи первого срока. Женя заняла два места во втором бараке, но меня направили в комнату для господ придурков — только восемь кроватей, занавески. Я недовольна своей койкой на проходе между дверями, соорудила из плаща что-то вроде полога, чтобы не бил свет в глаза и не смотрели на лицо, когда сплю. Здесь я бываю только ночью, весь день провожу на работе или на воздухе, гуляю по зоне.

Комната КВЧ: двадцать квадратных метров, два окна, солидная печка с плитой. Стол под кумачом, закапанным чернилами, и стул. Под окнами скамья со спинкой и еще два стула. Шкаф с жалким набором тенденциозных книжек и брошюр, немножко классиков в истрепанном виде, клубный журнал «Молодежная эстрада» и старые газеты. Ящик с красками, малярные и щетинные кисти, гвозди, клещи, молоток. В углу баян, гитара и балалайка.

Начала с расстановки книг (Дюма, О’Генри, Чехов, Новиков-Прибой). Читателей немного, но есть — указники и даже блатные берут и сдают часто и аккуратно. По вечерам шумно, много народа, бренчат и поют. В комнате постоянно торчит мой коллега по воспитанию масс — баянист Губарев, проще Федька-цыган; дымит махрой и рассуждает «за жизнь». Тонкий, гибкий, сухопарый мужчина в синей рубашке с высоким воротом; если всмотреться, даже красив, как филин, — хищно сверкающие карие глаза, нос с горбинкой, тонкие губы. Чуть седеют на висках черные как смоль волосы; черные брови и короткие усы на изжелта-бронзовом лице с обтянутыми скулами. Он неплохо играет на баяне и на гитаре, подпевая себе хриплым баритоном. Его обязанность — музыкальное сопровождение на праздничных вечерах. У него безнадежная статья 59-3 (разбой и «мокрое дело»), к тому же он опытный конокрад, притом в душе сентиментальный. Родилс и вырос еще в таборе, почти неграмотный. Неподдельный первоисточник — расспрашиваю его о нравах и обычаях цыган. Несмотря на свои сорок восемь лет, он нежно влюблен в двадцатипятилетнюю Катю Колесниченко, румяную толстую колхозницу из-под Житомира, встречается с ней когда и где удается; иногда я выхожу из комнаты, чтобы дать им эту возможность, но все равно дверь не заперта и в соседнем кабинете сидит начальник.

Кривошеев, наш Kulturtrager, — бывший рядовой, теперь старшина — коренастый, низкорослый мужичонка, на невзрачном лице которого запоминаются только обезьяньи челюсти с желваками около губ. Осилив три класса

начальной школы, он пишет с потрясающими ошибками и очень боится местоимений: как бы не потерять из вида, что к чему. Повторяет на всякий случай все существительные в одном и том же абзаце. Однако на фронте и в органах МГБ его до краев напичкали политграмотой, и он возомнил себ ученым. Занимается где-то политучебой, сдает диамат. Не справившись с темой, вызвал меня на диспут: «Какое противоречие будет при коммунизме?» Я позволила себе развлечься, прикинулась испуганной: «Да разве можно! Я не имею права говорить с вами о таких вещах…» Кривошеев махнул рукой: «Брось, не бойся. Это будет противоречие хорошего и лучшего, верно?» Я осыпала его ум и знания комплиментами — о, да, разумеется, верно, лучшее преодолеет хорошее и в синтезе даст совершенство… Почесав за ухом, он согласился, можно получить пятерку.

В споре с хорошим в КВЧ было и лучшее — можно выходить из прокуренной комнаты на воздух, отдыхать после обеда, читать. Кривошеев поручил мне переделать все щиты наглядной агитации, стоящие на ножках вдоль дороги от клуба до вахты. Они облупились, я выкрасила их коричневой масляной краской и крупными белыми буквами написала лозунги и цитаты, призывающие зеков к праведному труду во имя спасения тела и души. В июне вскопала треугольник в развилине дороги перед клубом и посадила много цветов: семена и рассаду космеи, ноготков и червонной зирки принес мне из парников главный агроном, вольноотпущенник пан Дробышевский — единственный интеллигентный мужчина на Третьем сельхозе, однако побеседовать не удалось — он был так напуган арестом за разговоры, что в лагере ни с кем откровенничать не желал. Лето здесь жаркое, работаю в майке, загораю, как бывало на даче.

Наконец-то письмо от мамы! Треугольничек, вложенный в письмо тети Любы. Жива и здорова, но подробностей никаких. Ей дали четвертую категорию. Много читает. Местность приятная. Цветут жарки — и все. Больше вопросов обо мне: все волнуется, не умираю ли я с голоду, не надорвалась ли на работе, не ругаюсь ли матом. Я сейчас же написала два письма, ей и тете Любе, отправила в Москву в одном конверте. Успокоила насчет всего этого, но поверит ли? Жаль, что не пишет ничего о своих настроениях, боится, что не дойдет, цензор сильно придирается к письмам. В лагере принято вкладывать в них листики и лепестки цветов — я послала маме нежно-розовые лепестки космеи, выросшей на моей клумбе.

Настал ноябрь. К празднику задумана грандиозная программа: парадная стенгазета. Официальный доклад начальника сельхоза. Премирование передовиков. Агитревю «Мы за мир». Одноактная пьеса. Концерт. Кино. Две недели

в КВЧ репетиции, спевки, у меня кипит работа; прибив гвоздем к полу огромный лист картона и привязав к нему на веревочке карандаш, я обвела круг — земной шар; вырезала его, на нем углем параллели и меридианы, синькой океаны, мелом Евразия, суриком СССР. К Северному полюсу прикреплен голубь из ватмана с еловой (вместо пальмовой) веткой в клюве. По бокам, в стороны, два красных полотнища с белой надписью «МЫ ЗА МИР!». Все это сооружение подняли на два метра над сценой, прикрепили на шнурах к потолку. Под ним стоят в ряд пять самых хорошеньких девчат в условных костюмах пяти частей света: Европа в венке с лентами; Ази в подобии сари из простыни, на руках жестяные браслеты (ободки от консервных банок), на лбу алая точка; Африка обернута куском пестрой ткани, на голове вывернутая шапка из черного меха; Южная Америка в сомбреро из картона и чьей-то шали с бахромой; Австралия — повязка «из коры» на лбу, перо в распущенных волосах и бумеранг в руке. Федор-цыган играет на баяне, девушки по очереди поют пять куплетов гимна «Мы за мир и песню эту пронесем, друзья, по свету...». Затем стоящий позади хор грянул «Гимн демократической молодежи», затем торжественно затянул «О Сталине мудром, родном и любимом» и «Москва-Пекин» («Сталин и Мао слушают нас»). После этого запели нечто полегче, заранее отобранное самим Кривошеевым в соответствии с его вкусом:

Ой, сусидко, сусидко, позычь мине решитко, решитко, —

Я муки пидрясу, пидрясу, завтра в ранци принясу, принясу.

Свою жинку молоду, молоду, нэ пущу я по воду, по воду —

Может жинка втопытися, мусив бы я женытися!

После антракта любители сыграли смешную пьеску «Личная секретарша» из «Молодежной эстрады» в моей постановке. Завершил вечер заграничный фильм «Мексиканская девушка». В клубе был аншлаг: начальство в первом ряду, вольные из поселка во втором и третьем, за ними трудящиеся массы. По стенкам стояли, кто не успел захватить места на лавках. Кривошеев был очень доволен всем, особенно своими любимыми песнями. Меня премировали каким-то значком и выставили на Красную доску (лучше бы дали кусок мяса).

В комнату врывается Ирма Яновна Виландес: «Какой ужас! Посмотри, что есть на твоей дверь!» Я выскакиваю, вижу: приколота бумажка, на ней синим карандашом кривыми буквами: «Далой савецкую власть да здрастует Гитлер». Обомлев от страха и не тронув ее, сейчас же к Кривошееву, прошу выйти посмотреть, клянусь, что ничего не знаю... Виландес говорит: «Это девчонка Люська, я видель, как она

бежаль с этим от столовой». Кривошеев снял записку с двери, вызвал эту Люську — самую глупую воровку с кукольным личиком в рамке светло-соломенных кудрей и с фарфорово-голубыми глазами. Ей только семнадцать лет, но уже две судимости за кражи. Она охотно призналась, что сделала это нарочно: кончается срок, на воле жить негде, родных нет, решила еще годика два покантоваться здесь. Однако результат превзошел ее желание… отправили в тюрьму на Главный, а через пять месяцев был суд: Люське всыпали целых десять лет по 58-й. Она разревелась, просила прощения, но не пощадили.

В марте 1952 года опять переполох: большинство указников отправляют на этап. Опять тревожная суета, в ней затягивается узлом личная драма — увозят Катю Колесниченко, Федя-цыган остается здесь. У них есть еще десять минут, они стоят у окна, я сижу за столом, заслонив лицо газетой. Страстные объятия, мучительно долгие поцелуи… Еще пять минут — душераздирающее прощание. Расстались. Федор не стал провожать ее при всех. Этап ушел за ворота. И вот этот разбойник заплакал навзрыд, не стесняясь при мне излить свое горе, на этот раз непритворными словами и слезами. Так плакали в прошлом веке безжалостно распроданные крепостные. Попробовала утешить, да что там… чувства — не мысли.

Мне жаль было расстаться с кругом простых людей, я давно отмежевалась от своей касты и не очень была рада, когда в пять часов к нам прибыл этап, состоящий из одних политических. Они сидят в столовой с чемоданами и сумками, немного растерянные, ждут. Бросаю на них беглый взгляд: человек тридцать старшего возраста, молодежи мало. Интеллигенты. Иностранцы (из Прибалтики). Сектантки. Немало четвертой категории (зачем содержать тут столько старух?). Их разместили и накормили.

Айно Бранд в тот же день пришла в КВЧ и представилась: член партии, государственный контролер Эстонской ССР. Спросила свежие центральные газеты. Еще чего… мы получаем с опозданием лишь кировскую областную. Внешность: полноватая, бесформенная, очень светлая блондинка с проседью (ей 48 лет); бледно-розовый цвет лица, остренький нос и острые, с холодком, белесые глаза за стеклами сильных очков; красные губы и белые зубы — в улыбке что-то от хищного грызуна. Голос высокий и звонкий, завлекающе-вкрадчивый тон, властные нотки. Айно стала завсегдатаем КВЧ. Ее назначили заведующей каптеркой, там можно сидеть вдвоем и болтать за чаем. Она рассказала мне историю своего ареста.

В начале 50-х годов в Таллинне шла внутрипартийная борьба, сути которой не знаю. Как дотошный и

принципиальный ревизор, Айно Бранд начала разоблачать какие-то злоупотребления, в коих был ею обличен ответственный работник — некто Каротамм. По намекам, кажется, между ними было что-то личное, потом они стали врагами; она писала в ЦК ВКП(б) жалобы и доносы, но, не получив ответа, решила сама ехать в Москву на прием к Сталину, безусловно веря в его справедливость. Дело было летом, она приехала в черном шелковом платье, без шляпы, в легких туфлях и остановилась на два-три дня в партийной гостинице на Рождественском бульваре. Подала заявление на прием у ворот Кремля. На другой день за ней приехала машина — чуть ли не «роллс-ройс», два сановника любезно предложили проводить ее к великому генсеку и… проводили прямо на Лубянку, ну, а там — как у всех. После — в Бутырки, в башню, в одиночку. Тем не менее дали только 58-10, только 10 лет, и доставили ее к нам в потускневшем шелковом платье. Айно очень идейна: «Я не контра, я была, есть и буду честной коммунисткой».

Другой постоянный посетитель КВЧ — Елена Веньяминовна Натансон, дочь известного доктора, маленькая милая женщина лет шестидесяти, ей дали четвертую категорию. Москвичка, восторженная поклонница Художественного театра. Приехав, она немедленно зашла ко мне и, рассчитывая на сочувствие, сразу: «Ах, Москвин! Ах, Качалов! Ах, Книппер-Чехова! Помните ее «Вишневый сад»? А какой Федор Иоаннович, какой Каренин был Хмелев… А «Дни Турбиных»?..» Мне не хотелось ни вспоминать, ни говорить об этом — вышибли на Лубянке. Я реагировала прохладно, а потом мы с Женей и все наши друзья очень привязались к Елене Веньяминовне, этой симпатичной (в прежнем литературном смысле слова) театралке в стиле прошлого века. Здесь к ней прочно пристало прозвище Муфточка, потому что ее арестовали на улице зимой, в старой шубе с меховой муфточкой в руках, с которой и отправили из тюрьмы по статье 58-10 за разговоры об упадке искусства при большевиках.

В мае несколько человек переселили в отдельный домик в глубине зоны. В маленькой комнате два этажа сплошных нар, всего на двенадцать мест. Умывальник в сенях, из двери вид на природу. Днем тишина, ночью поют соловьи. Густая трава с одуванчиками, совсем как в деревне. Я устроилась в уголке у стены, рядом поместилась Айно, мы долго разговаривали перед сном. Она очень неглупа, насмешлива и практична, и, несмотря на разные взгляды, мы почему-то подружились. Эта приятная жизнь длилась только месяц, нас опять переселили в новый барак на пригорке. Все деревянное, светлое, чистое, пахнет смолой. В нем восемьдесят мест, но занято не больше пятидесяти; на этот раз я выбрала себе жилье по вкусу: в самом конце, против печки, наверху. Рядом слева никто не спит, но все же

отделилась двухметровой завесой из марли — очень нужная вещь в здешнем быту: марлю протягивают на веревке между местами, чтобы не дышать друг другу в лицо и чувствовать себя в относительной изоляции.

Достала за рубль самодельный нож, прячу его в щель на потолке, рукой подать, так как иногда бывает шмон (обыск); ножи есть у всех, а что такое вилки, совсем позабыли. Еще одна бытовая подробность: койки делятся по внешнему виду на три разряда. У богатых сенник пышно взбит в форме ящика, подушка — куб с кружевной оборкой лежит на вышитом покрывале посреди постели, как туз бубен. Боже упаси сесть на такую роскошь! Сама хозяйка днем корчитс на лавке. Второй разряд у всех одинаков — постели застланы по казенной инструкции, одеяло с простыней вывернуты наружу с обеих сторон, подушка на месте. Третий же сорт у хронических нерях: мятое грязное белье засунуто под сенник, под подушкой чулки, портянки и тряпки, они плохо пахнут, — соседки жалуются, приходит санинспектор, позорит при всех, иногда сажает в изолятор. Четыре раза в год в бараке полный разгром: санобработка. Все барахло выносится за дверь, мы спим летом на земле, зимой в клубе на сцене. Барак ошпаривают и окуривают каким-то снадобьем, пол и нары трем и драим сами, через два дня водворяемся в него. Ни вшей, ни клопов нет. Здесь живет часть указников и часть 58-х — Айно, Муфточка и другие, а моя Женя осталась во втором бараке.

Анна Павловна Скраубе — дочь начальника станции Бологое, человека немецко-польского происхождения, мать русская. Внешне Анна очень эффектна: резкие тонкие черты, чуть раскосые зеленые глаза, приподнятые к вискам «чертовские» брови и высокий лоб; темно-каштановые волосы откинуты в высокую прическу. Интересное, запоминающееся лицо и гордый самолюбивый характер. Окончив в 1940 году Ленинградский институт журналистики, Анна вышла замуж за своего однокурсника, их распределили на работу в Минск. Не прошло года, как жизнь полетела кувырком — война. Муж немедленно ушел на фронт и через три дня погиб. От первых налетов полыхает Минск, отчаянное бегство, поезда ломятся от людей. Анна тоже бросилась бежать, но для нее не хватило места в последнем грузовике. Сейчас же в город вступили немцы. Фамилия Скраубе вызвала у них доверие, Анну взяли уборщицей в офицерскую кухню. Через пять месяцев заслали в глубь Германии во Фрейбург-Брессау и продали в прислуги на ферму. Хозяйка и ее дочь оказались добрыми людьми и тайными антифашистами, они приняли Анну как члена семьи, работали и ели вместе, ждали поражения гитлеровской армии. Красочно рассказывала Анна про страшный налет союзников на Фрейбург, за ночь от города не осталось камня на камне.

Наконец мир! Французы, англичане, американцы, затем русские… В страхе перед ними хозяйка фермы спрятала юную дочку в чулане под хламом, — солдаты ее не нашли, изнасиловали мать. Анна бежала к нашим. Из лагеря для перемещенных лиц ее переправили на родину, снова в Минск. В городе не прописали. Поселилась в разоренной деревне, стала работать в колхозе, но голодные жители относились враждебно, так как ей надо было отмечаться в милиции; органы установили слежку, агенты приставали как к женщине, допрашивали как военнопленную и в конце концов арестовали.

Внизу напротив Муфточки занимает место высокая и сухопарая пожила леди с проседью в черных волосах; она всегда подтянута, на ней ладно перешитое казенное платье. Это — Кисель-Загорянская, урожденная Нессельроде. Она принадлежала к придворной знати: маленькой девочкой играла с царевнами в Царскосельском саду, барышней кружилась на балах в Петербурге, дамой ездила с мужем, богатым дворянином, как полагалось, в Италию, Швейцарию и в Париж. Бывала с ним и его друзьями в Лувре, в Grande Opera и в знаменитом кабаре Folie Bergere. После революции замешкалась в России, все надеялась — то Юденич, то Деникин, то Колчак, то нэп — и опоздала в эмиграцию. Каким-то чудом уцелела в 1937 году, но попала в тюрьму в 1951-м. Смотрит на это саркастически-трезво: «Рано или поздно это должно было случиться в силу моего происхождения и бывших связей; к тому же мой острый язык, а еще доверие к знакомым, — кто-то не преминул стукнуть. Впрочем, я этого ждала. А теперь жду, когда выпустят. Така ненормальная ситуация долго длиться не может».

Нессельроде ведет себя в зоне сдержанно, вежливо; читает, шьет, вяжет и беседует, вспоминая вместе с Муфточкой театриумфы Москвы и Петербурга; их отделение в бараке превратилось в светский салон: Анна, Женя и я приходим в гости, пьем чай в складчину, разложив угощение на тумбочке и на коленях, слушаем рассказы о далеком прошлом.

Вместе с ней оказалась где-то на пересылке Сабиха-Сюнбюль из нашей камеры на Лубянке.

Вышло так, что мы с Айно стали «кушать вместе» — есть в лагере и такой обычай. Она любит заниматься хозяйством, готовить и печь, а я нет. В КВЧ есть печка, в каптерке нет. У Айно нет ни копейки, у мен на лицевом счету 1200 рублей (до реформы 1961 года). Мы освоились до того, что начали пировать: наш киномеханик получает богатый паек, а так как на каждом лагпункте его кормит очередная любовница, он торгует этим пайком. Мы покупаем мясо, масло и муку. Я

научилась добывать через рабочих картошку и морковь. Берем в ларьке комбижир, печенье и повидло. Айно варит эстонский хлебный суп, оригинальную смесь размоченного черного хлеба, сахара, компота или варенья и любых сластей — от леденцов до шоколада. Суп кипит, потом остывает, как желе, его едят холодным. Айно жарит мясо и печет оладьи.

Мы стали делать деньги: я рисую орнаменты и цветы на полотенцах и платках, она вышивает гладью и крестиком, от заказов нет отбоя (многие получают с воли деньги и нитки мулине всех цветов радуги).

Блатные в восторге от безвкусицы: я на смех нарисовала, Айно вышила на салфетке розовое сердце в виде червонного туза, проткнутое желтой стрелой с красной каплей на конце, окруженное незабудками, — схватили, переплатили, пришлось повторять пять раз: попали в точку. Были у нас и подлинные «произведения искусства», например, Дине Мамаенко прислали два с половиной метра нового белого полотна; она заказала скатерть с каймой — мы сделали на углах лиловые ирисы с тонкими листьями, по краям желтые, — в десять дней заработали сто рублей! Расценки в лагере необычные: сшить платье три рубля, за вышивки дают в десять раз больше; картинки, открытки по рублю. Один раз я чуть не угодила в изолятор: не видя в том греха, нарисовала одной старой литовке мадонну с младенцем на клочке бумаги 6╫4 см, и она, вместо того чтобы молиться под одеялом, вложила рисунок в письмо и послала дочери в Каунас. Письмо перехватили, меня вызвал опер. Едва убедила, что не занимаюсь религиозной пропагандой.

В бане все деревянное: пол, стены, потолок, лавки и ушаты, тяжелые шайки и черпаки. В ней есть парилка о двух полках, истопник нагоняет невыносимый жар и пар, благо дров много; любители хлещут себя березовыми вениками. А воды очень мало, в окрестностях сельхоза нет ни реки, ни прудов (Кама и Волосница далеко, в восьми километрах) — только мелкие бочаги да на ферме водокачка и колодцы. В зону воду возят на быках в колоссальной бочке. Бригады ходят в баню раз в десять дней, каждый получает шайку холодной и шайку горячей воды. При бане есть прачечная, можно сдавать белье, можно стирать самим в неподъемных долбленых корытах архаической эпохи. Рядом стоит домик парикмахера, эстонка Майя Каяри обязана брить всем подмышки и «треугольник Астарты» (гигиенично и эстетично); желающие могут подстричься — я всю жизнь стригусь коротко и часто захожу к Майе; мы пьем чай, приходят Айно и молоденькая Тиу Рейгла (ее арестовали в четырнадцать лет за кусок хлеба и чашку молока, поданные «чужому»).

Освободилась заведующая баней, назначили новую из новых «пятьдесят восьмых». Раиса Исааковна (фамилию не помню) — бывший секретарь Всеволода Мейерхольда. Внешность бросается в глаза: крайне худое, костлявое тело, серый цвет лица, нос похож на клюв попугая, тонкие длинные губы и черные волосы на прямой пробор. Помню, что видела ее в театре, когда была на репетиции с иностранцами от ВОКСа. Заняв нижнее место в бараке, Раиса Исааковна постелила на тумбочке салфеточку, поставила зеркальце, флакончики, разложила косметику, часики, ложечку…

Ее предупредили опытные люди:

— Не выставляйте своих вещей напоказ, лучше спрячьте или сдайте в каптерку.

— О нет, нет! Оставьте меня, я привыкла к комфорту, не хочу лишаться его даже здесь! Этим хамам надо привить любовь к красивым вещам.

Любовь эта здесь давно привита: на другой день весь комфорт украли девчонки из блатного барака. Раиса Исааковна побежала к оперу:

— Какой ужас! Вы должны найти, отобрать, наказать!

— А кто взял? Ищи-свищи. Попробую принять меры.

Как ни возмущалась балованная дама, ничего не нашли. Ей на Третьем сельхозе не повезло: чем больше претензий, тем больше неприязни. Трудящиеся массы недовольны: не доливая им воды, заведующа моется вволю каждый день; в бане появился какой-то кислый запах, на лавках и шайках скользкий налет. Подали жалобу. Подстерегли по дороге в столовую, избили «в темную». Она опять побежала к оперу:

— Это безобразие! Что мне делать? Помогите! Накажите!

— А кто? Не видела? Вот если бы в столовой, другое дело. На улице все может быть…

Ее сняли с работы в бане, назначили режиссером в клуб. Р. И. взялась ставить одноактные пьески из «Молодежной эстрады» по методу Мейерхольда — вроде бы неплохо, но с таким апломбом, таким командирским тоном, что наши квазиактеры стали грубить, надавали пощечин — и опять никто не был наказан. Опер явно был не на ее стороне, в лагерях процветал антисемитизм. Кончилось тем, что ее списали на общие работы.

Раз в месяц придурки дежурят по очереди в конторе всю ночь, подходят к телефону, вызывают кого надо, сторожат

(в связи с этим мне пришлось побывать в мужском бараке: дым, пот и храп). Обычно спим в коридоре на лавке, но в эту историческую ночь было не до сна. Вместе со мной дежурит агроном Дробышевский. Сидим на лавке в пустом коридоре. Час ночи, два, три… Затаив дыханье, слушаем радио: торжественная тихая музыка, взволнованные, но медленные слова диктора: «Серьезно болен товарищ СТАЛИН…» Мы напряжены до предела, молчим, не довер друг другу, но понимая без слов. Утром 5 марта 1953 года Кривошеев повелел всем собраться в клубе — слушать важное сообщение. Долго ждем, и вот часов в одиннадцать (наконец-то…) «скончался товарищ СТАЛИН». Что почувствовал и подумал каждый заключенный, каждый беспартийный, каждый партийный в СССР — неизвестно, страх замкнул уста. Я вышла из клуба в пустырь за конторой. Белесое небо, мерцают редкие снежинки, и вдруг сквозь ровную тучу проник луч, бледный мартовский луч… Знак? Предвестие новой эры? Да, мне показалось, что так… Айно, уткнувшись лицом в кулису, плачет на сцене. Делаю вид, что сочувствую всесоюзному и личному горю (сомневаясь, искренние это или крокодиловы слезы?). Однако что-то надо делать, как-то отметить? Но Кривошеев и все вольняшки исчезли из зоны! Позвонила ему из конторы домой, шеф мрачно сказал: «Готовь стенгазету получше, сделай траурное оформление. Собери материал да проверь как следует, чтобы там… не того…» Ну, понятно, взялась за дело. Айно дала возвышенно-идейную передовицу, оборотни принесли патетические заметки, двое (заведомые контры) написали стихи. Я отделала портрет Великого Генсека алыми и черными извивами лент и знамен. Когда номер был готов, надо было его утвердить, подписать, а вот уже второй день никто не появляется в зоне… Почему — непонятно: или чего-то боятся? Или чего-то ждут, инструкций из Москвы? Опять звоню шефу, он говорит: «Разрешаю. Подделай мою подпись, никто не заметит». Но я не смею! Не имею права! «Да ладно, выпускай, повесь на видном месте. Кнопки есть? Возьми у меня в столе». Пришлось выполнить его приказ. Так никто из начальства не появлялся три дня, и мы разбрелись, предоставленные самим себе. И радио почему-то сломалось… Очень странно.

«Иди скорее в клуб, там привезли одну, плохо говорит по-русски». Иду, вижу — сидит с вещами крупная, мягкая латышка лет сорока пяти: слезы на выпуклых, водянисто-голубых глазах; большой нос-дуля покраснел, рыхлые губы дрожат. Поза, фигура, лицо выражают растерянность и страх. Подхожу, приветливо здороваюсь по-английски. Вскинув голову, она радостно воскликнула: «O yes, yes, I can speak English».

Ее зовут Эмилия Хермансонс. Отец ее, инженер, сочувствовал революции 1905 года и был вынужден бежать

из царской России в Америку. Занялся производством швейных машин и стал капиталистом. Эмилия, единственная дочь, выросла в роскоши и баловстве, окруженная заботами родителей и прислуги. После первой мировой войны Латвия, став государством, призвала соотечественников строить экономику страны. Хермансонс ликвидировал дело в США, уехал на родину и организовал такое же в Риге. Плавание на океанском пароходе произвело сильное впечатление на восьмилетнюю девочку. Дела шли успешно до второй мировой войны; при немцах Эмилия, не ведая, что творит, стала преподавать английский язык в немецкой школе. Опять фронт, победа, возвращение Латвии в лоно СССР. Через восемь лет Эмилию арестовали за коллаборационизм, не успела прийти в себя, как очутилась в Вятлаге. Добрая, доверчивая, неопытная, как ребенок, она не поняла ничего: почему давать уроки детям — преступление? Почему без суда? Почему на 10 лет и в Россию? Почему нельзя подать кассацию и т. д., и т. д. Я никак не могла ответить на эти «почему», объяснить ей то, что нельзя объяснить человеку, полному таких буржуазных предрассудков, как законность и открытый суд.

Она делает все не так, как надо в лагерной жизни: питается плохо, ибо все невкусно, рассчитывает на отцовские посылки — и ее объедают наши попрошайки; панически боитс блатных — и они обокрали ее три раза; «косит» (делает ставку) на слабость — и взяточница врач за два-три дня в стационаре обирает ее до нитки; работать совсем не умеет.

С отдаленных окраин до нас дошли страшные слухи: на один штрафной лагпункт приехала Центральная культбригада. Во время спектакля озверевшие самцы-рецидивисты бросились на сцену, схватили женщин, унесли в барак и всех по очереди изнасиловали. Стража не успела на помощь вовремя, но к утру несчастных актрис вывезли на Четвертый спецмедпункт, а виновных мужчин посадили в местную тюрьму до суда. Подробностей этого современного похищения сабинянок мы так и не узнали.

Вскоре в тех же краях разразился бунт. Преступники убили вольных и придурков, обезоружили конвой и разграбили склад. Они продержались три дня. Лагерные солдаты не справились, прислали армейскую часть, и произошел настоящий бой, в результате которого уголовных одолели, посадили в наручниках в товарный поезд и отправили в Сибирь, не то в Тайшет, не то в Магадан. Эти события взволновали весь Вятлаг, в общем относительно мирный архипелаг.

Амнистия, амнистия... Кодекс, кодекс... амнистия, кодекс... только об этом и говорят весной 1953 года, гадают и

мечтают, но толком ничего не знают. Зам. начальника сержант Усцов, добродушный и простой, советует всем писать заявления, так, мол, скорее разберутся в уйме дел, и все пишут, пишут и ждут, ждут, ждут… Наконец-то она, желанная Амнистия! Все всполошились, но коснулась она не всех, лишь уголовных да указников и только тех «пятьдесят восьмых», у кого срок пять лет, но таких нашлось только двое, одна старушка и девушка-баянист Виктория из Черновиц. (Федю-цыгана в марте увезли.)

При массовом освобождении баб на Четвертом им выдали на руки их незаконный приплод. Близ Верхнекамской поезд на минутку остановился в поле — и что же? Побросали младенцев и малышей на насыпь и уехали налегке. Детей обнаружили путеобходчики, собрали и вернули на Четвертый в ясли и в детдом. Материнская любовь…

Освобождение тысяч уголовных (по милости Берия?) привело к взрыву преступности по всей стране, докатившемуся до Москвы, зато опасные враги, такие, как Муфточка, Эмилия и прочие, остались под стражей.

От вольных мы узнали о событиях в Москве: «Ехал Берия в Большой театр, а за ним в другой машине Булганин и Хрущев, в третьей переодетая милици — обогнали, остановили, задержали». Мы поражены: сам Берия загремел к себе на Лубянку, в камеру, не в кабинет! Значит, что-то будет… Зеков одурманило предчувствие перемен.

Днем 16 июня 1953-го зашла в КВЧ Ольга Реушкина, высокая, молодая, здоровая указница, на загорелом лице белозубая улыбка, в волосах васильки. Взглянув на нее, я почувствовала себя вновь в тюрьме: двойные рамы заделаны наглухо, мутные окна, открыть и проветрить комнату нельзя, целый день курят. Уже два года на этом стуле без свежего воздуха, без новых впечатлений, без физического труда. Ведь за окнами уже лето! Мгновенно решаю уйти на общие работы и, как мне свойственно, сейчас же дейст- вую — иду к начальнику Долгову и прошу списать меня из КВЧ в полевую бригаду. Он изумлен, обычно все просятся в зону, под крышу, отговаривает и пугает, но я убедила его, наконец согласился.

18 июн я вышла со всеми за ворота зоны. Двадцать человек, заступая на колеса, перемахнули через борт грузовика и помчались за восемь километров в Волосницу. Какое утро! Солнце. Роса. Ветерок в лицо. Меня обуяло веселье, дух свободы. Парадокс? Да. Волосница — древняя деревня на горе под сенью громадных старых лип, напоминает милое Шуколово, лишь избы темно-серые, и нет перед ними ни кустика. И местность похожа, холмы и леса. Выскочив из кузова, пошли вниз по крутой дороге в долину речки

Волосницы, впадающей в Каму, там наши огороды — свекла, петрушка, морковь. Каждому выполоть три длинные грядки в такой чудный день — пустяки. В перерыве на обед, пожевав черного хлеба с солью и с зеленым луком, пошли купаться в Каме. Конвойный дрыхнет в кустах, знает — никто не сбежит. Разделись догола — и бух в теплую воду. Кама здесь мелкая, по шейку, с ровным песчаным дном; тихо течет к северу, дальше сделает большой поворот к югу на Соликамск и Пермь. Неужели я плыву! Четыре года не купалась... Вокруг женщины брызгаются и хохочут; на берегу жужжание и стрекот, над нами носятся стрижи. Наслаждение!

Обширная холмистая территория Волосница вместе с деревней лежит в пределах Вятлага, принадлежит Третьему сельхозу. Знойный июль, сенокос в разгаре. Наша бригада разошлась по отлогим холмам и долинам. Сняв плотные выгоревшие блузы, мы шевелим и сгребаем сено в легких лифчиках и коротких юбочках, от солнца и стирки ставших из черных светло-серыми. Легкие деревянные грабли так и пляшут у меня в руках, звонко шуршит рассыпчатое сено — знакомая любима работа! Делаем копны (для тех, кто не знает как: нельзя класть одну охапку над другой, надо направо и налево, для прочности, и одной покрыть и примять). Со всех сторон подгребаю остатки, очесываю бока, подтыкаю под низ. Готово. Давно научилась всему этому в Шуколове, и здесь тоже лесные дали во мгле, но все шире, и полушар неба огромный — какой простор! Глушь! Хочется петь: поют во мне здоровые силы и радость жизни. Вот подъезжает телега-полок, я вонзаю вилы в копну, прихватываю с четверть, перекидываю вертикально на плечи и спихиваю охапку в телегу. Возчица размещает ее там — вспомним классику: «Воз растет, растет как дом» (кстати, нет лучшего описания русского сенокоса, чем в этих стихах). Она стягивает его веревкой, «в ожиданьи конь убогий точно вкопанный стоит», берет вожжи и отъезжает, а я бросаюсь на землю, лежу на спине, подложив руки под голову, смотрю в синий зенит, вдыхаю безупречный воздух, пока не подъедет другая телега. На закате прибывает за нами грузовик и мчит с ветерком домой. С каким удовольствием съедаю я селедку с натуральным ржаным хлебом, щи и запеканку, лезу в свое гнездо и сплю как убитая с восьми вечера до шести утра.

А вот как живут аборигены: зашли мы раз в сельпо на Волоснице — ничего нет, кроме окаменелых баранок и слипшихся леденцов с привкусом керосина. Продукты сюда почти не завозят. Уходя на работу, мы захватываем из бочки две-три миски тюльки, собираем хлеб у тех дам, которые не могут осилить пайку. В поле к нам подходят свободные граждане, и мы — рабы («рабы — не мы», из букваря) угощаем их рыбкой и хлебцем. Суровое черное пятно эта

деревня на ярко-зеленом фоне лугов. Дети ходят в школу за восемь километров здешней северной зимой… Я сама видела старика в лаптях, это в 1953 году! Мужья почти все погибли на войне, вдовы не справляются с хозяйством. Три года не чистили хлев в одной деревушке, коровы едва взбираются на гору навоза, касаются спинами потолка. Бабы обратились в лагерь за помощью, туда послали рабочих; они раскололи ломами твердь, выскребли коровник и за эту услугу увезли весь навоз на лагерный скотный двор.

«Привезли какую-то чокнутую, пошли посмотрим!» На дорожке стоит низенькая толстая фигура, особенно велики груди-ведра; грязные, спутанные темные волосы прикрывают бледное лицо, из-под них дикие косые глаза. Совсем не мылась четыре дня, не хочет идти в баню, не хочет говорить. Так почему она здесь, а не в «психушке»? Потому, что нормальная, но протестует. Не хочет трудиться на благо родины, хотя недавно еще была членом ВКП(б), разведчицей в чине капитана (трудно представить ее бюст в гимнастерке). Ее зовут Изабелла Самборская; образованная еврейка из Белоруссии, советская патриотка. Как она попала сюда? Война кончилась. По дороге с фронта увидела на одной станции, как спихнули с отходящего поезда безногого солдата в лохмотьях, как просят милостыню другие, — возмутилась и написала прямо Его величеству т. Сталину дерзкое письмо («плохо Вы заботитесь о рядовых инвалидах»), за то и попала сюда. Прибыв в лагерь, Самборская решила сопротивляться и стала «косить на сумасшедшенькую» (местный жаргон). Ее поведение забавляло весь сельхоз, возмущало работяг, раздражало начальство, но сломить этого упорства так и не смогли. Сколько раз ее сажали в изолятор! Я видела эти отказы: утром, стоя у вахты, упершись лбом в столб, перекинув густую нечесаную гриву на лицо, закатывает под лоб глаза и нарочно пускает слюни. В конце концов добилась своего, списали в четвертую категорию. Изабелла любит литературу, немножко знает латынь: я записала с ее слов полузабытые стихи Горация «Exegi monumentum» и Катулла «Vivamus mea Lesbia»[1], пропавшие дома при «крушении яхты». Она пристает ко мне с высокими материями и антисоветскими разговорами — стараюсь отделаться от ее претензий на дружбу «двух просвещенных людей на каторге».

Другая территория Третьего сельхоза немного поменьше Волосницы, называется Второе поле, она в двух километрах от зоны; в небольшом бараке живут всего десять человек бесконвойных, в том числе старый пчеловод, бывший кандидат-биолог, вытесненный из науки произволом Трофима Лысенко. Привлекательная нетронутая природа, поляны, смешанный лес, тишина. Сгребая тут и там сено, мы отлучаемся в заросли и объедаемс перезрелой малиной.

Здесь я познакомилась с француженкой Альфонсиной, второй женой проф. Мацокина, с которым когда-то занималась японским языком. Она рассказала об его аресте и о том, что он погиб из-за нее в дальневосточных лагерях. Здесь же подружилась с болгаркой Анастасией-Златаной Бойчевой, интеллигентной московской служащей моих лет, арестованной за разговоры на коммунальной кухне, с ней нашлись общие знакомые.

На Втором поле мы обычно стоговали сено. Выбрав ровную площадку примерно 9╫3 метра, подкладываем жерди и подаем со всех сторон навильники с копен трем опытным укладчицам, распределяющим их посередине и по краям; они прижимают сено руками и ногами, умеют *вершить*, придавая стогу традиционную форму с округлыми углами и сводом. Однажды мы кончили в шесть часов, устали и присели рядом отдохнуть на клочках сена, ждем грузовика; расслабились, вытянули ноги. Вечер нежно-розовый и тихий-тихий… но ах! Одно незаметное дуновение — и полстога бесшумно свалилось набок, словно великан смахнул рукой. Мы вскочили, взглянули: секунда — и труд всего дня насмарку! Это значит надо до дна разобрать всю кладку, успеть сложить новый стог — а уже поздно. Бешено закипела работа. Все раскидали, опять втыкаем вилы, подаем, сбрасываем на втором дыхании, суетимся, как муравьи на разоренной куче. Бригадир Катя Мирошниченко бегает и командует, шофер, покуривая, ждет. Потные, красные, мы вошли в раж и кончили в девять часов. Мчимс домой в полумраке, поблекло изжелта-бурое пятно заката. Настроение взвинчено, усталости как не бывало. В зоне нас встретили радушно, сам начальник вышел с похвалой за две нормы в день, обещал выставить всех на Доску почета и премировать. В пустой столовой накормили густыми щами, съели по две запеканки, жадно пили чай. В этот день я поняла, отчего и как получаются ударники, стахановцы, передовики социалистического труда.

Опять, как снег на голову, новость — четвертую категорию завтра увозят в Астрахань. Прощайте, Муфточка, Загорянская, Айно! Опять суматоха, расставание, слезы, обещания, адреса. Накануне отъезда Айно заявила мне тоном, не допускающим возражений:

— Выпиши с лицевого счета двести рублей мне на дорогу. У меня нет денег.

— Но ведь мы только что взяли сто, больше не дадут (выдавали по сто рублей в месяц).

— А ты попроси хорошенько, скажи, что ты мне должна двести рублей.

— Да что ты! Никто не поверит, все знают, что у тебя нет ни копейки, наоборот…

— Нет, скажи так, как я велю, убеди, тогда поверят.

— Но я не умею, не хочу врать, у меня не выйдет!

— А я говорю, выйдет, постарайся, я то же самое скажу.

Мы пошли вместе в контору — конечно, отказали. Она повела меня к Долгову, чтобы врать (ну, смотри, не сорвись!). Долгов, по лагерным меркам справедливый, видит нас насквозь, знает, кто кому должен. Я начала неуверенно врать, он меня оборвал:

— Перестань болтать вздор, это на тебя не похоже. А тебе, Бранд, как не стыдно вымогать у нее деньги, жить на чужой счет? Не разрешаю. Доедешь и так, небось накормят. — И мне пытливо: — Говори правду.

Я не выдержала, сорвалась и сказала правду. Он:

— Ну, то-то. Думаешь, не видно… Теперь уходите обе, и чтоб я не слышал об этом.

За дверью в коридоре Айно закатила мне такую сцену, что до сих пор страшно вспомнить. Глаза ее совсем побелели, лицо покраснело, рот ощерился крысиной злостью:

— Дура! Дрянь! Раскололась… Трусиха, тряпка!

Она осыпала меня оскорблениями, терпенье лопнуло, я послала ее куда подальше и выбежала из конторы. Конец лжедружбе, хватит. Ужинали врозь. В бараке я сейчас же залезла к себе спать, но не могла заснуть от возбуждения и возмущения ее нахальством.

Утром я встала раньше всех и попросила нарядчицу Тимошенко отправить мен на работу (вчера отпросилась, хотела проводить Айно и попрощаться со всеми). После завтрака ускользнула за ворота со своей бригадой. Весь день сгребали сено с Анной Скраубе и спорили о Толстом: она не верит, что интеллигент может превратиться в крестьянина, и подсмеивается над моим сельхозрвением.

А они все уехали днем без меня. Ссора с Айно принесла мне независимость в быту и облегчение в душе. Почему она так завладела моей отнюдь не слабой волей?

Вдруг меня зачислили на Седьмое (VII), то есть улучшенное, питание. В лагере положено изредка подкармливать покорных и усердных рабов. Оно длится месяц и состоит из

белого хлеба, пол-литра молока, миски творога и чего-нибудь мясного с жареной картошкой к обеду в помещении санчасти. Жен и Анна тоже удостоились этой милости; слабым и больным тоже перепадает иногда вкусненькое, но далеко не всем — есть в нашей бригаде Маруся К,. учительница, с активным туберкулезом: блестящие глаза, нездоровый румянец, кашель, однако ее ни разу не ставили на Седьмое из-за крайней озлобленности, мрачного и нетерпимого характера. Потом ее отправили на Четвертый, где она умерла через год.

Нонна Куртэн подошла к нам ясным летним днем, когда мы четверо — Женя, Анна, Злата Бойчева и я — отдыхали под березками на Втором поле. Присела рядом, познакомилась, стала расспрашивать, как нам тут живется. Ее только вчера привезли. Предложила спеть что-то Вертинского. Мягкое, глубокое меццо-сопрано, артистичное подражание манере автора. «А хотите Ива Монтана по-французски?» — «Ну, конечно! А кто это?» (мы еще не знали). Она спела нам один романс:

Дождь идет на дороге,

Мое сердце в тревоге

Ночью ждет на пороге

Шума твоих шагов…

Но не слышно ни звука,

В сердце трепет и мука,

Безнадежна разлука —

Не вернешься на зов?..

(*Мой вольный перевод*)

Произношение безупречное. По-русски говорит хорошо, но с неуловимым акцентом и с не нашей интонацией. Французская живость и легкость во всем ее существе, однако она русская — белая эмигрантка первой волны. Дочь царского офицера и помещицы, родилась в 1916 году, выросла в Париже в «Пасях», как русские называют район Пасси. Училась во французской школе, вышла замуж за француза, инженера Куртэна, родила мальчика и девочку. Жила обеспеченно и беспечно, забегая то в бистро, то в кино, жарила дома изящно упакованные в целлофан лягушачьи лапки. И вдруг сокрушительный удар — немцы идут в Париж! Всеобща паника. Из города хлынул на юг поток беженцев. Машины, набитые людьми, вещами и

продуктами, ползут, стоят, опять ползут и стоят, скованные общей лавиной. Муж Нонны и она с детьми три дня сидели, согнувшись в три погибели, в своем «ситроене». Добрались до Тулузы.

В конце войны в жизни Нонны появился некий русский. Втянув в движение Сопротивления, увлек «русской идеей» (?) и соблазнил женщину. Он убедил ее бросить мужа и уехать с ним в Советский Союз. Нонна бежала из дома, похитив своих детей. Серж встретил их на вокзале, и, влекомые течением истории, они отбыли на историческую Родину. На границе пересадка, проверка и досмотр. Серж извинился и вышел первым предъявлять свой советский паспорт. Нонна задержалась, собирая вещи. На пункте ее документы показались липовыми: муж — другой человек, французская подданная, но визы нет; не эмигрантка, не репатриантка, не туристка — сразу отнеслись с недоверием. Она испугалась: «Я сейчас его позову, он объяснит». Вышла на платформу: где Серж? Нигде нет. Бесследно исчез. Она чуть не упала в обморок. Отчаяние и гнев: завез и бросил на произвол судьбы. Ее задержали, допросили, арестовали, посадили и вскоре выслали в деревню на Урал.

Все это она рассказала нам просто, оживленно. Избалованная и беспечная Нонна понятия не имела о советской действительности. Слово «закон» понимала буквально, в «справедливость» верила наивно, бытовых лишений боялась. Франки у нее отобрали, выдали рубли, стоимость которых ей была неизвестна. В глухой уральской деревне сняла каморку за перегородкой. Хозяева недоверчиво пялят на нее глаза, не верят, что русская. Работать? Где, как?.. Надвигается зима — ничего теплого нет, надо всем троим купить старые тулупы, шапки и платки. Надо купить валенки — а что это такое? Что такое морозы, Нонна тоже не знала. А еда? Черный хлеб, картошка, кислая капуста. Первое, что она решила сделать, логично: вернуться во Францию и попросить прощения у мужа. Откровенное письмо к нему не дошло, задержала военная цензура; врата СССР плотно захлопнулись за ней, поговорить об этом негде и не с кем. Второе — разыскать «Сержа», каплю в море, иглу в стоге сена. Невозможно. Душа Нонны воспылала ненавистью к прародине, с которой у нее не было ничего общего, кроме генов, которые молчали. Она жаловалась, ругалась, ее вызывали не раз и не два в местную милицию — кончилось арестом; все тот же ассортимент: измена Родине, шпионаж, агитация… Детей сдали в детдом для потомства врагов народа. Нонну отправили в Москву, оттуда на десять лет.

Тем временем господин Куртэн, заподозрив провокацию, обратился в Сопротивление, где ничего определенного о судьбе жены и детей не узнал. Был он у графа Игнатьева, но

и тот не помог. Поиски через полицию ничего не дали, так как Нонна выехала из Франции без визы, после войны огромное количество всяких «перемещенных лиц» не поддавалось учету.

Нонна стала своей не только в нашей компании, но и в бригаде, и во всем коллективе Третьего сельхоза. Несмотря на перенесенные мытарства, она не пала духом, не утратила своего веселого, общительного нрава. Не отказывается от работы — ходит с граблями, распевая песенки Ива Монтана и Эдит Пиаф, рассказывает нам тысячу мелочей о парижской жизни. Об эмигрантах отзывается как-то извне, по-европейски: «Они варятся в своем соку, жуют свое прошлое. Я говорю о заурядных людях там, в Пасях, ведь с такими знаменитостями, как Бунин, Мережковский, Гиппиус, Шаляпин, я не была знакома, но и они тоже… только о себе да о России. Насмотрелась здесь, в деревне, на этот народ… грубые, жадные, недоверчивые люди. Я так люблю французов! С ними сразу нахожу общий язык, а с теми… Эмигранты изолируют себ от Франции, от всей окружающей культуры — нельзя же столько лет жить в такой стране и не замечать ее рядом с собой. Потому и французы относятся к ним как к чужим. Я предпочитала бывать с мужем в парижском обществе, не светском, но очень приятном».

Нонна Куртэн была воплощением синтеза двух культур. На вопрос, как она относится к нам, советским русским, она, пожав плечами и улыбнувшись, отвечала: «Вы мне кажетесь более современными, но здесь, в лагере, все ненормально. Я не знаю вашего общества, я представляла себе все другим во время войны. Que faire… c’est la vie[1]. Мечтаю вернуться домой и надеюсь, что ваши когда-нибудь выпустят меня». Увы…

В августе мы жали рожь, буквально серпом. У меня получалось недурно. Приступила к этому священному труду с благоговением, во мне проснулось что-то автохтонное — моя бабушка, мать отца, была родом из крестьян Симбирской губернии; и помимо того в жатве вообще есть что-то сакральное, уважение к зерну, к хлебу восходит к древнейшему архетипу. Я чувствовала себя на полях Эару. Был довольно жаркий сухой день, мы продвигались вперед, работая рядом, но все с разной скоростью. «Как полосыньку я жала, золоты снопы вязала». И этому здесь бабы научили: как, захватив пучок соломы, развести его на три части, как сделать жгут, стянуть сноп, закрутить, подсунуть; как поставить «стойку» из двадцати пяти снопов и накрыть ее двум распущенными снопами вниз головой, чтобы не проник дождь, итого двадцать семь снопов.

Их вскоре отвезли в зерносушилку — замысловатое деревянное здание с большими закромами. Там мы

ворошили, пересыпали уже обмолоченное зерно деревянными лопатами. Сухость, хлебный дух, пыль и триллионы триллионов зерен, несущих потенцию жизни — себе в качестве семян на будущий год, нам в качестве хлеба; эта могучая сила перешла в меня через руки, ноги и дыхание, я совсем не уставала.

Летом 1953 года зав. кухней назначили Нину Г-ую, молодую белокурую москвичку; она отказывалась, отбивалась от этой должности, даже плакала, но ее заставили, и тогда она крепко взялась выжимать из нормы на рыло все, что возможно, не утаивая ни крошки ни себе, ни другим. В столовой чудеса в решете: пирожки, беляши, картошка, салат, красная рыба! Все это полагалось нам получать и раньше, однако… Нина сама вела отчетность и хозяйничала в кухне с помощью кухарки и судомойки. Целый год мы сытно, даже вкусно питались.

Нине двадцать четыре года, она дочь генерала МГБ еще времен Ежова, выросла в атмосфере органов, бывала на вечеринках в кремлевских кругах. Она охотно, как бы в отместку, рассказывает всем и каждому о своем аресте: «На одном пиру меня напоили вином с какой-то снотворной примесью. Ничего не помню, проснулась в чужой комнате на диване, раздетая, под шелковым покрывалом. Открылась дверь, и вошел сам Берия, в пиджаке, в рубашке, при галстуке, но… без штанов… Начал приставать, я царапалась, кусалась, кричала — ему не удалось взять меня, разозлился и ушел. Одежда моя и шубка лежали рядом на кресле; у меня была нервная дрожь, кое-как оделась, кто-то мен выпустил, и я вернулась домой. Родителям ничего не сказала об этом мерзком случае, старалась забыть, но через неделю за мной пришли. Арестовали за то, что якобы слушала и передавала антисоветские анекдоты, но это неправда, я была чистой комсомолкой. В самое сердце поразил меня отец: представьте себе, я стою у двери под стражей, мама рыдает, умоляет, а он сидит за столом, читает газету и даже не смотрит на меня, лишь обронил: «Мы никогда не ошибаемся, помни: значит, так тебе и надо». Я ему этого никогда не прощу, выйду на волю — буду жить в общаге и учиться на адвоката, доберусь до правды!» Нине дали пять лет, но через два года выпустили по амнистии. Впоследствии узнала, что она поступила на юридический факультет.

Вот и сентябрь! Все на картошку! Много ее здесь, очень много. Посажена квадратно-гнездовым способом; на песчаных участках в сухую погоду убираем вручную, это легко: взял обеими руками куст под корень, вывернул, выдернул, встряхнул — и посыпались клубни лорха, поцапаешь ямку инструментом, похожим на птичью лапку: не осталось ли чего в земле? В каждом гнезде бывает от 12

до 36 клубней. Норма — три стометровых ряда, ее нетрудно и перевыполнить; зато на подзоле и глине без лопаты не обойдешься, особенно после дождя.

Нам разрешают съесть в поле сколько угодно картошки. Набрав ведра три, варим в котле или печем на костре; сев в круг, едим с комбижиром или с маслом и солью. Однако это не мешает нам воровать — суем по три-четыре штуки в напуск блузы и по две-три в каждую штанину летних брюк, плотно засунутых в башмаки. У входа в зону слегка обыскивают, но «не замечают», и мы опять варим ее на уличных печурках, угощаем придурков.

Все это хорошо в теплом сухом сентябре, но в конце бывает очень плохо. Идет мокрый снег. Глина — клей, не отдерешь. Перчатки, рукавицы хоть выжимай, красные руки стынут до онемения, ногам тоже холодно в летней обуви. Слякоть и грязь, моросит дождь, телогрейка промокла насквозь, по спине пробирает дрожь. В такие дни хочется скорее в зону, в тепло, под одеяло. К середине октября вся картошка убрана; я не помню никаких авралов и провалов.

Теплый серенький денек. Пахнет дымом, листьями, грибами. Рубим мелкорост на пригорках у овражка. Сидим у костра. Завязался разговор: кто тяжелее переживает арест и лагерь — старшие или молодежь? Одни гово- рят — старшие, так как больше утрачено привязанностей, привычек и вещей, труднее подчиняться режиму, работать. Им возражает Изольда Гончарова (ей всего девятнадцать лет, поэтесса, умная, утонченная девушка): «У молодых жизнь бывает сломана до того, как сложился и окреп характер, появилось мировоззрение. Вот мы срубили ту елочку, может быть, отрастут ветки, а ствола не будет. Личность оскорблена, юность осквернена. Мне было семнадцать, когда за мной стал ухаживать один военный. Я не знала, что он служит в органах, болтала о свободе слова, ругала идеологическое ярмо, цензуру и тому подобное... Сделал мне предложение — я отказала, он совсем не нравился мне, особенно его наглый взгляд. Тогда он предложил жить с ним «так», и я его прогнала. Потом явился к нам вечером (моих не было дома), попытался взять силой — не вышло. Он грязно выругался и донес, вот и все! Нет, не все: в тюрьме меня избил следователь, наговорил в лицо гадостей. Ну разве могу после этого любить, выйти замуж, писать стихи? Не верю никому, не знаю, что думать о жизни, кем быть... И этот унизительный рабский труд! Хочу в университет, а трачу время здесь даром!»

Мы выслушали ее, и мнения разделились. По-моему, Изольда права — много думавший и переживший взрослый может воспринять арест и лагерь как приключение, приобрести новый опыт. Со мной никто не согласился — вероятно,

чересчур субъективно… Молча глядевшие на костер пессимисты Женя, Анна и Эмилия полагают, что в молодости все проходит легче, до свадьбы заживет, много еще впереди, возможно, хорошего. А у нас? Ни кола, ни двора, начинать жизнь с нуля, когда уже под сорок, очень тяжело. Ни площади, ни прописки, ни прав, ни денег, ни работы… ни прежних сил.

Уборка капусты напоминает массовую казнь — острыми тяпками и ножами отрезают круглые головы. Удивительно устроен кочан, как плотно и причудливо свернуты его листья, сколько жизненной силы в кочерыжке! Все создано Природой, чтобы скрыть, согреть и питать новую жизнь, которой не суждено прорасти. Зато у людей будут щи. Когда я режу овощи, я думаю: говорят, «Бог есть любовь», а создал мир, в котором все всех едят. Жизнь ценой смерти — любовь? Утешительная мифология.

Самое красивое создание в мире овощей — морковь: изощренно резные, подобные кружеву листья гибкой круглой вазой раскидываются от ярко-оранжевого корн правильно сужающейся формы — редко кому приходит в голову всмотреться в нее с эстетической точки зрения. Сбор ее в конце сентября — легкое дело. Морковь переносит заморозки, ее укладывают «тиной» наружу, корешком внутрь в небольшой круг; слой над слоем, слой над слоем, образуется узка изящная башенка бархатного темно-зеленого цвета. На фоне розовато-коричневой земли и желтого леса необыкновенно живописно. Я любуюсь и жалею, что нельзя здесь снять цветное фото. Перевозят эти копенки в хранилище в конце октября.

27º мороза. Мы закутаны, тяжелы, как водолазы на суше: валенки, ватные брюки, бушлаты поверх телогреек, платки поверх шапок. Идти трудно, дышать нечем. Едкая мгла, над постройками столбы розоватого дыма. Белое небо, белое Солнце, белая земля. Я никогда не увлекалась Арктикой и зимним спортом, терпеть не могу холод, ненавижу мороз. Если теори перерождения верна, я прежде жила в Южной Азии — где-то на Цейлоне, в Бирме или Камбодже. Тело, чувства, разум и дух застыли, сейчас я шагающий робот. Несколько бригад идут пешком девять километров в еловый лес пилить сухие бревна. Там когда-то не закончили повал, и в чаще живых деревьев под метровым слоем снега наворочен хаос. Старые стволы валяются крест-накрест, как попало: нам надо их прищупать, раскопать, очистить и распилить, сложить в штабеля. Под снегом еще сохранились «усы» — выложенные досками колеи разветвленных дорожек. Ноги проваливаются в щели между бревнами, возимся по пояс в снегу, задыхаясь от проклятого мороза, рукавицы мокрые, в них то тает, то дубеет снег, и руки мерзнут. Пилить вдвоем с напарницей ужасно трудно, сухие-

сухие бревна как железо. Я сломала три лучка, покаялась бригадиру — оказывается, не моя вина, сталь становится хрупкой на морозе. Напарница моя Наталка — пожилая кроткая евангелистка, русская из украинской деревни. Терпеливо пилит бревна, рассказывая о себе: «Муж-то на войне убит, две доченьки остались. Постучался ночью красноармеец, оборванный такой, голодный. Ну, пустила его, накормила, в чулане спать положила. Утром в ранцы ушел, а ввечеру за мной с понятыми пришли: он, мол, враг переодетый был, бандеровец, что ли, почем я знаю? Не емши-то всякому худо. Отняли у меня хату, корову и кабанчика взяли, с девчонками разлучили — Бог, знать, наказал, а за что, сама не пойму. Грехов-то всех не упомнишь. Навязали сперва-наперво двадцать пять лет, потом скинули, десять дали, а нынче только пять осталось. Недавно письмо получила — дочки мои у тетки живут, выросли, в колхозе работать стали. Деньги копят — вернусь до дому, строиться будем». Выпустили ее через год.

Прозябший от безделья конвой объявляет съём в три часа. Уходим. Самые сильные впереди месят валенками снег, пробивают тропу, за ними быстроходные спешат, чтобы согреться. Оглядываюсь на холме: сто человек ползут гуськом через пять увалов, извилистая черная змея. Самые слабые в хвосте, совсем оторвались от нас, едва бредут. Среди них Эмилия, Маруся и Саркисова-Серазини — придут на час позже. У ворот зоны, пока всех считают, Эмилия садится на снег, закрывает лицо ладонями в драных замерзших рукавицах и шепчет: «O, my God… Let me die…»[1] — и молится по-латышски.

На другой день — минус 35°, ужас! Дыша в воротники, в платках до глаз, прошли почти вслепую с километр, и догнал верховой с приказом вернуться в зону. Какое счастье! Еще Катон-Старший писал: «Рабам не должно быть плохо: пусть они не мерзнут и не голодают». Администрация задолжала нам несколько выходных дней на уборке картошки, теперь их отдает. В бараке очень тепло, трещат и пылают дрова в двух печках, кипит титан. Кто шьет, кто читает, кто спит. Окна плотно покрыты голубым узорным льдом с золотыми искрами. Я блаженствую, лежа на койке в одном платье и в чулках, читаю «Дым» Тургенева и сосу леденцы. Старая поговорка: начало — мочало, конец — шелк.

…Опять три дня не выходим на работу и даже из барака — непроницаемая февральская метель. Ничего не видно в двух шагах. Белыми винтами, тюлевыми завесами сплошь крутится и падает снег; окна засыпаны до половины, дверь с трудом оттесняет рыхлый гребень. Обнимает и увлекает меня предельно выражающая свою сущность стихия, Нивенна[2], душа снега. Но вот перестало сыпать сверху, и

бригаду расставили чистить пропавшую под белым одеялом железную дорогу. Наша ветка идет километр полем, делает поворот в лесу, еще километр полем и вливается в главную линию около станции Южное. Вышли в ватных брюках, туго заправленных в валенки, в телогрейках, стянутых поясом, без бушлатов (будет жарко — ветра нет и всего минус 6°). Вооружились деревянными лопатами и широкими фанерными совками. Начали от пакгауза — по десять метров на каждого из двадцати человек с последующей переброской. Прокладываем глубокую траншею чуть пошире полотна. Снег мягкий, кристаллический, слегка схваченный морозцем, не осыпается с боков — приятно вырубать, поддевать, вынимать лопатой громадные сахарные кубы. За нами следом пять человек разметают шпалы и рельсы, отбивают лед на стыках. Мне пришлось обучать эту нескладеху Эмилию — даже лопату держать не умеет! Нонна Куртэн ловка и бодра; Женя работает покорно и молча; Анна недовольна, у нее часто болит и кружится голова; бережет свои ручки и ножки Раиса Исааковна, делает все кое-как. Работая отдельно, мы не мешаем друг другу. К одиннадцати часам вступили в лес. Часа в два обедали в низенькой темной хибарке из шпал, построенной у линии путеобходчиками. Разогрели котел чая на железной печурке, закусили хлебом с тюлькой, поболтали о том да о сем — и опять на рельсы. В сумерках вливаются тона в полутона: черно-белый лес в тяжелых снежных лапах, заросли, утонувшие в пуху, изящные стебли иван-чая и мягкие сугробы окунаются в голубовато-лиловую неясность. Тонко! Неизбывно… К сожалению, никто не участвует в моем дао-настроении, не видит, в какое совершенство облеклась зима.

Не от всякой работы я в восторге. Нарядили однажды мыть полы в казарме конвоя, заплеванные, заляпанные окурками и грязными сапогами. Помещение прокурено, пропахло портянками и потом. Кроме тряпок выдали швабры и палки с резиновой «губой», но от этого не легче. Противно! Или, например, весь день перебирать картошку во мраке овощехранилища — в нежный весенний день так тянет на свет, на воздух! Но хуже всего чистить силосные ямы. Сто в вонючей жиже, отдирать вилами слежавшиеся пласты, поднимать и выкидывать наверх. Нацепившись, липкие листья не слезают с вил, надо спихивать граблями. Отвратительно! Обувь и брюки, вся я пропахли тошнотворной гнилью. Закончив, была в бане, но долго еще преследовал меня этот запах.

Не очень-то приятна и разгрузка вагонов с зерном. Крепкие бабы первой категории таскают на спине двухпудовые мешки (женское ли это дело?). Мы вдвоем стоим у товарного вагона, держим их за края, задыхаясь от пыли. Двое в вагоне подгребают зерно к желобку, мощная струя жизни

вмиг наполняет мешок. Хлеб наш насущный… сколько труда… Подумали бы о нем те, кто бросает на помойку черствые буханки, покрытые плесенью батоны и огрызки. От плуга до пекарни потрудился бы тот, кто делает это.

Был на разгрузке и несчастный случай: привезли тяжелейший мотор, доски перевернулись, и тонны железа боком завалились на грудь и живот молодой девушки, направлявшей катки. Раздавило не на смерть, на муки — полгода лечили на Четвертом, потом списали в инвалиды на всю жизнь, освободили до срока, а на что ей свобода?

Однажды попала я на наш кирпичный заводик, обмывать сырец перед обжигом, зашла заодно в горшечный цех и увидела там в действии замечательный символический предмет — гончарный круг. Вращается подобно электрону во все стороны — вперед, назад, вверх и вниз, легко и плавно меняя направление. Египетский писатель Ипувер сравнил с ним в своем «Плаче» социальный переворот конца XVIII века до нашей эры, опрокинувший древнюю иерархию и весь ее быт. Я долго наблюдала, как из этого вольного вращения образуется твердая гладкая керамическая форма. Поистине вся наша жизнь — гончарный круг. В лагере, похоже, «разгуливается погода»: все меняется на глазах, смягчается режим, теплеет отношение к людям (кстати, подъем уже не в шесть, а семь часов утра); начальство поощряет надежды на освобождение; вместо большой группы вольноотпущенных прислали партию вербованных, разместили их за зоной. Не хватает рабочих рук, а сельское хозяйство не ждет. Ежедневно у всех меняется гамма настроений от отчаяния до надежды, все возбуждены, чего-то ждут.

В мае 1954-го меня повысили в ранг полусвободных — дали пропуск! Теперь могу выходить из зоны без конвоя на расстояние двадцати пяти километров и работать по личным нарядам. Это очень приятно, тем более весной. Первый самостоятельный день провела в березовой роще, послали собирать сучья и сухие ветки. Можно обойти кругом, отойти подальше, посидеть под деревцем наедине с природой.

Сторожу бескрайнее поле на Верхнекамской, 32 гектара сочной травы, пестрой от ромашек и других цветов. С утра до вечера надо мной Солнце описывает полукруг. Июль 1954-го, жара — в тени +30°, на солнце +40° с чем-то. Хожу босиком в лифчике и выгоревшей юбчонке до колен, с длинной палкой в руке — отгоняю быков из фабричного поселка, хожу и пою. Посреди поля один лишь тенистый куст, в нем спрятаны одежда, сандалии и торба с едой. Сижу под ним, жую хлеб и запеканку, запиваю водой из

озерка, в котором купаюсь. Идеальная свобода, и где же! Не умею совсем ничего не делать и вот взяла с собой книгу…

Не хочу много писать о себе, но надо сделать отступление, иначе будет все далее непонятно. Двадцать пять лет тому назад, сдавая историю в экстернате, увлеклась личностью и реформой Эхнатона, прочитала о нем главу из Брестэда, но война и личная жизнь, арест и прочее отвлекли от него надолго. После того как следователь обрушился на меня с упреками и насмешками, я отреклась от своих знаний и перестала читать научную литературу. Теперь, кажется, пришла пора их вспомнить: в КВЧ прислали новый учебник древней истории В. И. Авдиева. Я захватила его в поле и, сидя под кустом, начала все сначала. Тут вспыхнуло во мне с неведомой силой чувство духовного сродства с царем-философом XIV века до нашей эры; в эти светосильные жгучие дни опьяняла Радость, я приобщилась к его культу Солнца как видимого воплощения творческой энергии мира. Внутри совершился решающий перелом, определивший цель и содержание второй половины жизни: я решила заниматься Амарной[1].

Перебросили в августе на железную дорогу в качестве пожарного-смотрителя: очень сухое лето, искры и угли от паровозов поджигают мох, траву и шишки в полосе отчуждения, а по бокам дремучий хвойный лес. Туда — одиннадцать километров по ветке и главной линии; там весь день гуляю по рельсам, высматриваю дымки, тушу огоньки; обратно еще одиннадцать километров, в общем многовато, но тело мое невесомо… Потом я рискнула освоить путь прямой через лес, всего пять километров, но каких! Бурелом, заросли, хворост, кочки, болота. Заблудилась два раза, на третий раз нашла тропу, заросший «ус» давнишнего повала. Грибов видимо-невидимо всех видов и размеров — от крошек до шлюпиков.

Единственное укрытие — будочка, прильнувшая к высокой насыпи возле узкой арки под линией и каменистого ручейка. Дверь и оконце выбиты, в углу лопата, кочерга и ведро воды — мой инструмент; кругом тоже пустынно, лишь над темными елями парят и кричат хищные птицы. Чуть жутковатое место, но я ничего не боюсь — охраняет Солнце, охраняет лес. Изредка прогремит над головой поезд, пройдут по линии туземцы с длинными туесами на спине. Одиночество. Единство. Всё.

После каждого обхода «дистанции» я сижу в будке на полу, пишу стихи и наброски. Все мое ликование зафиксировано в цикле «Гимны Солнцу». Знаю, учебника Авдиева мало, необходимо изучить эпоху Амарны как следует, по источникам, вместе с языком: я не хочу быть дилетантом. Однако здесь это невозможно. Впервые захотелось быть на

воле и приняться за дело, и я всем существом чувствую, что это непременно скоро случится. Переживаю самые светлые и легкие дни в жизни — очищение, откровение и неизмеримое счастье.

В этом радостном состоянии отметила я 23 августа свой день рождени под старой березой недалеко от линии, в венке из ее тонкой веточки, с цветами в руках. Маленький ритуальный пир среди зеленых братьев. По дороге домой набрала мешок грибов, взвалила на спину, в зоне принялась за готовку. Пришли гости: Женя, Анна, Эмилия, Нонна и Злата. Рядом со мной никто не живет, подняла марлю, и мы впритирку расселись по-японски на пятках. В центре большая сковорода жареных грибов, вареная картошка и селедка с луком. После — чай с печеньем и конфетами из ларька. Я наняла за рубль дикую Вальку подавать нам снизу кипяток. Чокаемс кружками, пьем за здоровье, дружбу и свободу. Под нами в бараке шумит всегдашняя неразбериха, а мы вознеслись над бытом, как пирующие боги.

Солнечная мистери кончилась в конце сентября. Меня перевели на другую «ответственную работу», сторожить двенадцать слоноподобных стогов на сенобазе поблизости от зоны — снова гонять упряжных быков, норовящих вонзить рога в сено и нажраться до отвала. Свинцовая погода. Северный ветер. Холодно бродить там целый день. Чтобы согреться, решила сама построить ограду. Захватив топор, заострила и вбила попарно колья, перевязала их «восьмеркой» лыком в двух местах, пониже и повыше, положила на них длинные жерди. Быки не могут пролезть и растрепать сено, а я могу заниматься; округлив в стоге теплую нишу, засела в нее читать и писать. Вдохновенье бьет через край, подсказывает верные образы и факты. Рисую карандашом миниатюры.

Рядом с сенобазой домик ветеринара, болгарки Трандафиловой. Захожу к ней гретьс и пить чай, она рассказывает мне о болезнях и лечении животных, привод любопытные случаи, например, как одна корова целиком заглотнула поповскую рясу — пришлось разрезать ей бок, засунуть по локоть руку и вытянуть ткань прямо из желудка.

Нежданно-негаданно здесь, у стогов, в час дня за оградой — мама!! Я остолбенела. Стоит маленькая, постаревшая, в шапке-ушанке и синем пальтишке, смотрит и будто не узнаёт… наверное, думала встретить рваную доходягу, а я прибавила в весе четырнадцать кило, возмужала, круглая морда выражает глупое удивление… Она освободилась, добралась из Баима в Кемеровской области до Верхнекамской, оттуда ее доставила вместе с почтой наша возчица Тоня. Мы обнялись. Я потащила маму на ветпункт к Трандафиловой, та разахалась, ставит чайник, несет на стол

винегрет. А веду себя нелепо, раздеваюсь до пояса, хочу показать маме, что цела и невредима. Она трясется от волнения, готова заплакать. Разговор отрывистый, нелогичный, внешний. Кто-то нашел нас здесь, сказал, что меня отпустили с работы, и мы пошли в зону. На вахте есть комната для свиданий, в ней кровать, стол и стул. Я помчалась в барак за хлебным супом, купила что-то в ларьке, угощаю, но мама не ест, хочет говорить. Мы не можем найти общего языка, дать волю чувствам — отвыкли друг от друга. И теперь у нас противоположные взгляды: она озлоблена, ничего не желает простить, вспоминает прошлое, жалеет дом и вещи, ее раздражает мое благодушие, я кажусь ей не прежней собой, а чужим человеком.

Нам разрешили пробыть вместе сутки. Легли спать рядом, но не спали, говорили всю ночь. Расспросы, беглые рассказы о себе — основное было нам известно, мы переписывались все время уже прямо из лагеря в лагерь. Так ничего толком и не надумали, не решили. Мама хочет бороться за «правду», за Москву — заставила меня написать заявление о том, что я невиновна, не понимая тайного смысла кармы или покаяния. Я не стала спорить. Пусть делает как хочет. У нее и у меня разный тип силы воли. Ей семьдесят два года, но нервная энергия и житейская настойчивость все те же, а я больше верю в даосское недеяние: само все получится, когда настанет время. Разумеется, и радость встречи, и родное тепло, и наши ласки на свидании были. На другой день я проводила маму на мотовоз. Она уехала в Москву, взяв с собой мое небрежно написанное заявление (и там переделала его по-своему) — уехала хлопотать обо мне, устраиваться где-то жить и ждать, кажется, недолго. Я совершенно выбита из колеи столкновением двух обособленных миров.

Три дороги пересекаются в низине, образуя маленький треугольник, в нем стоят на лютом морозе три длинные фигуры. Вокруг дымят костры, шумит работа, и некоторым жарко. Проезжая мимо шесть-восемь раз, смотрю: стоят неподвижно и молчат. Это сектантки, не то субботницы, не то иеговистки, не то адвентистки — упрямые, угрюмые «западнички» Кудлатова and her two disciples[1]. Мне их не жалко: терпеть не могу фанатиков, но дивлюсь их выдержке, наверное совсем обледенели. «Героические» сожжени староверов и всех восхищающий протопоп Аввакум меня возмущают; я видела в Боровске в подвале под подвалом темницу, где он пробыл год в шести кубических метрах без воздуха и без света (экскурсовод сказал, что, когда открыли форточку, воробьи снаружи умерли от вони, а протопоп потерял сознание от кислорода). Все из-за того, что креститься надо не тремя, а двумя пальцами и т. п.

«Фанатизм и нетерпимость в религии и в политике идут в ногу с жестокостью и войной» (С. Радхакришна).

Новый год разрешили встречать всем коллективом в столовой. На ужин Нина Г-кая выдала пирожки с капустой и рыбу с жареной картошкой; потом были кино и даже танцы, отбой отложили до 12 часов. Желающие приоделись в свои платья и туфли, было дружно и весело. Всем кажется — это последний год… 1 января 1955-го объявили у нас выходным днем: отдыхали, что-то пекли, ходили друг к другу в гости.

Анна Скраубе тоже получила пропуск, нас вдвоем послали работать на почту в Южное. Утром туда подкидывает мотовоз, вечером всегда пешком по ветке. Почтовое отделение и посылочная в особой комнате на станции. Поезд с воли приходит в полдень. Анна, я и четыре местных служащих стоим цепочкой от двери багажного вагона до приемной, проводник, как машина, подает нам ящики и тюки, мы переправляем их на почту. Их много, иные весят максимум десять килограмм, другие полегче, но каждая из нас, подержав с минутку в руках, в общем и в среднем перебрасывает полтонны в полчаса. Забрав сумку с письмами, мы с Анной расставляем посылки на полках и пишем, пишем… Сколько бумажек надо заполнить! Квитанции, накладные… Часов в пять уходим домой.

Полнолуние. Крепкий мороз. Скрип валенок нарушает белое безмолвие. Иней очертил серебристо-голубым контуром все ветки, стебли и травинки, торчащие из-под снега, — фантастически красивое кружево — северная сказка (банально, да иначе будет не то). Мы восхищены: кабы не почта, не увидели бы наяву этот сон в зимнюю ночь. Рассуждаем о литературе. Анна любит Максима Горького, читает наизусть «Девушку и Смерть», и на этом чистейшем лунно-белом фоне его поэма кажется мне возвышенной и чистой. В ней звучит мое credo, мой девиз: «Краше Солнца нету в мире Бога».

Рано утром в феврале еще темна ночь. Сжавшись на корточках, топлю печь в бытовке на скотном дворе. Шипят и плачут сырые дрова, дым заволок рыжий свет лампочки слабого накала. Каморка тесная, грязная, в немытом, залатанном бумагой окошке намечается рассвет. Зябко, неуютно. Пришла сердитая литовка-скотница, поставила на плиту котел, варит пойло для телят, и я иду в хлев и скребу железной лопатой промокший, пропахший навозом пол. Скотница выгоняет телят из их маленьких стойл, они собираются вокруг корыта и, толкаясь, окунают мордочки в пойло. Предназначенное им природой материнское молоко на две трети разбавлено водой с отрубями, а сами они обречены стать мясом или идти под ярмо. На редкость ласковые существа мягкими губами хватают за подол,

лижут руки шершавыми язычками, поднимают на меня детские наивные глаза, подернутые голубоватой дымкой, — телячьи нежности, vatsalia[1]…

Несмотря на уколы совести, мне хочется молока и масла. В погоне за ними взялась за самую скучную, самую мелкую работу, от которой отлынивают все, — три раза в день мыть маслобойку, девяносто крошечных цепких деталей, терпение и труд, но зато получаю пол-литра парного молока и кусок только что сбитого сливочного масла, вкуснее его нет ничего на свете.

Опять весна. В начале апреля пробираюсь по лесной тропинке на Фосфоритную, в рабочий поселок (он есть на карте). Местность изрыта: бугры и ямы, снег и песок, сочатся струйки воды. Мы втроем на запасных путях чистим платформы с высокими бортами, 11╪3 метра, скалываем лед, сгребаем, сбрасываем, подметаем. Акварельный полуясный день, уже поют овсянки, тепло, журчат ручейки, и настроение тоже размытое. Просачиваются мысли о будущем — кто куда? Я не знаю. Хочется на юг, в приморский город, где нет мороза и цветет роза, но пугает ностальгия: не могу жить без елок и ромашек. Хочется в какой-нибудь совхоз, жить как сейчас — одна баба зовет к себе в Брянскую область в деревню Синезерку, но мама… Ни за что. Требует пока под Москву, потом только в Москву. А я не хочу назад в прошлое! Там уже нет ни ложки, ни плошки, пропало все. Не пропишут ближе ста километров. И не хочу в город… Впрочем, будь что будет.

Вчера освободилась Эмилия, отец добился реабилитации. Она растерялась до смешного, заплакала, бросилась мыть голову, сгребла в ком и запихала вещи в узел. От нас оторвалась сразу — даже не оставила адрес, не обнялась на прощание — до чего ненавидит лагерь и, наверное, всех русских!

Утром подбегает Женя: «Ты сегодня пойдешь на волю!» Я не верю, вбила себе в голову — все, только не я; запретила себе верить в слухи и воображать. Однако вскоре меня вызвал опер. К нему стоят в очереди четырнадцать колхозниц из Закарпатья. Стою и все-таки не верю, сомневаюсь до конца. Вот уже дверь перед носом, стучусь, вхожу в кабинет. Опер у нас не злой, попросту улыбнулся и сказал:

— Ну вот, завтра идешь на волю!

— Почему? Еще четыре с половиной года осталось…

— Скинули четыре года по просьбе матери, полгода зачет за хороший труд. Ты что, не рада?

— Не верится, так сразу… Неужели правда?

— Ну и чудачка! Где будешь паспорт брать, здесь или там?

Я подумала: здесь — это надо идти двадцать километров пешком на Лойно, и паспорт будет лагерный.

— Лучше там. Дайте мне, пожалуйста, справку на получение.

— Ладно, как хочешь. Куда поедешь-то? В Москву нельзя.

— Знаю. В Каширу. К матери, она уже там.

Он выписал справку, выдал мне отличную характеристику и обходной листок.

— Желаю удачи. Не шали.

— Спасибо. Прощайте. Передайте начальнику и Кривошееву привет.

Я вышла на крыльцо. Сияет Солнце, льет с крыш, чирикают воробьи. Вспомнила: сегодня 22 апреля, день рождения папы, наш семейный праздник… Хорошая примета. Тут на шею бросилась Женя, целует, поздравляет; подходят другие, а я еще не могу осознать, и радости никакой нет, вся почва ушла из-под ног, пусто.

Весь день в суете, а душа во мгле. Нас, пятнадцать вольноотпущенных, поставили рядом к стенке, пришел фотограф, снял, проявил, напечатал, наклеил на справки, в конторе притиснули печать. Теперь это мой вид на жительство. Была в бане, вымыла голову. Вечером друзья устроили прощальный ужин; они все ждут вызова, сельхоз тает как снег. Плохо спала последнюю ночь на своей обжитой верхней полке, отгоняла сумбурные мысли о будущем. Еще раз перевернулся гончарный круг жизни — вперед или назад?

Встала рано, сдала постель и одежду, оставив на себе платье, телогрейку и прочные кирзовые ботинки. Взяла в каптерке свой рюкзачок, прождавший спины столько лет, и в бухгалтерии остаток денег с лицевого счета; сшила дл них мешочек со шнурочком, спрятала на животе и подпоясалась покрепче: я готова. Напоследки обошла всю зону. Грустно… даже не хочется с чем-то здесь расставаться навсегда. Попрощалась, пообнималась с Женей, с Анной и другими. Они проводили меня на мотовоз, я влезла в этот ящик с двумя моторами спереди и сзади, за мной — четырнадцать баб, ошалевших от счастья. Промелькнули пакгауз, поселок, поле, хибарка на ветке, Южное… Прощай, Третий сельхоз!

«Они» оказались правы, труд может перековать личность — если она сама захочет.

На Верхнекамской пришлось долго ждать. Все так знакомо и уже так нереально! Отделилась — иди куда хочешь. До нас никому нет дела. Первый независимый акт: вчетвером зашли в столовую для вольных, заняли столик, взяли меню, выбрали суп с вермишелью, котлеты с гарниром и компот, за все заплатили сами; официантка подала нам тарелки, ложки, ножи и вилки — чудо! Разучились нормально обедать… Потом, как приклеенные, сидели два часа на платформе. Наконец подали поезд. Влезла на полку, лежу пластом, ни одной мысли, ни одной эмоции. Отчего? Или так у всех? Нет, украинки рады, оживленно болтают, строят планы, смеются. Едем, едем обратно — Пижма, Котельнич, Яр… Здесь пересадка. Бегом в зал, компостировать билеты — у кассы толпа ревущих блатных, не пускают — что делать! Один военный сжалился надо мной, подал билет без очереди, но скорее! Скорее!! Уже близко, уже подлетает, вздымая пыль и сор, длинный сибирский экспресс. Стоит две минуты. Мне в одиннадцатый вагон — бегу сломя голову, мчусь вдоль состава, все двери закрыты — щемит под ложечкой, задыхаюсь, вот он: цепляюсь почти на ходу, держусь за поручни, рюкзак тянет назад. Проводник втащил меня на площадку, в тамбур, в душный, битком набитый общий вагон: рабочие, солдаты, зеки, мужики, охотники, дети, собаки… Стою, прислонившись, перевожу дух. Сесть негде — так и ехать полтора суток? Дала взятку проводнику, пять рублей (тогда это было много), он пустил меня на третий этаж своего служебного купе. Чтобы не тревожить его и себя, отключилась опять, как тогда, на пути из Кирова в Яр. Не ем. Не пью. Дремлю. Сплю. Ничего не воспринимаю, не ощущаю — кроме глухой тоски. Непонятно. До сих пор не могу объяснить причины этого странного состояния. Слишком резкая перемена? Из неволи на волю — в другую неволю?

И вот 25 апреля 1955 года я, отныне свободный гражданин СССР, выхожу, робко озираясь, на Ярославский вокзал. Совсем одичала. На метро жмусь в угол, боюсь прикоснуться к прилично одетым людям. На Павелецком вокзале сдуру сунулась в ресторан (в платке, телогрейке и бутсах) — швейцар в форме обругал и выгнал, «куда лезешь, тетка». Но голод не тетка, я купила в буфете булку и триста грамм колбасы: примостившись на полу среди баб с мешками, съела все сразу и напилась в уборной воды из-под крана. На перроне душно, шумно и чуждо: тянет к простому народу. Через час электричка помчала меня в Каширу к маме, но об этом — в третьей части книги, если успею ее написать.

Публикация и подготовка текста М. А. ДАВЫДОВА и Е. Д. ШУБИНОЙ